

Елена
КОТОВА



**ПЕРИОД
ПОЛУРАСПАДА**

Роман века

Елена Котова

Период полураспада

«ВЕЧЕ»

2015

Котова Е. В.

Период полураспада / Е. В. Котова — «ВЕЧЕ», 2015

Жизнь милосердна и беспощадна ко всем одинаково, только люди разные, силы, цели и ценности у них не одинаковы. История большой русской семьи, которая начинается в дворянском доме в Тамбове, заканчивается спустя столетие среди небоскребов Нью-Йорка, где оказываются два мальчика пятого поколения, едва знакомые друг с другом. Никакого вымысла, все события и имена подлинны, и тем не менее – это не хроника, а уникальное по сюжетным поворотам художественное полотно. Один век, прожитый страной и ее людьми.

© Котова Е. В., 2015

© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

«Чем мы были и что мы...»	5
История первая.	11
Часть 1.	12
Дом на Тезиковой	12
Падчерицы и пасынки	16
Провинция Российской империи	20
Многие лета	22
Часть 2	31
За захлопнувшейся дверью	31
Браки совершаются на небесах	36
Разросшаяся семья	42
Нехорошие квартиры	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Елена Котова

Период полураспада

«Чем мы были и что мы...»

Новый роман Елены Котовой поражает душевностью, что большая редкость в современной прозе. Особенно когда роман, как и вся непростая история России последних ста лет, которую он охватывает, актуален до боли. При этом он изящен, драматизм действия смягчается неповторимым юмором, без которого было невозможно не только жить в той реальности, но даже осознавать ее.

Один век жизни большой семьи история наполнила интереснейшими, зачастую трагическими событиями, неожиданными зигзагами судеб, видимыми и невидимыми конфликтами, и, конечно, вопросами, на многие из которых мы до сих пор ищем ответы.

Главный из них – как получилось, что семейная история, начавшись в идиллии провинциального Тамбова, через пять поколений продолжится на атлантическом берегу Нового Света? Словно в увеличительном стекле через историю этой обычной российской семьи можно разглядеть, что произошло за этот век со всеми нами. В этом сила и правда романа.

Конечно, в книге нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Да и кто в состоянии его дать? У каждого своя собственная история, именно из них складывается национальная память народа. Поэтому важно, чтобы при всем неизбежном субъективизме личного восприятия такие семейные романы были правдивыми, не комплиментарными, включали реальные факты и события и даже известные всем фамилии, а не просто ограничивались бы мутными намеками и неуклюжими псевдонимами.

Здесь надо отдать должное автору. Елене Котовой удалось в своем романе быть предельно честной и откровенной. Главные события в истории страны и мира прошли по ее семье, как и по миллионам других, оставив в них свои следы и незаживающие раны, раскидав близких людей, порвав вековые порядки и уклады. Нормальное человеческое сознание оказалось неспособным угнаться за стремительностью исторических перипетий, осознать и безболезненно подстроиться под новые реальности.

...На песчаном пляже Нью-Йорка мальчик нового поколения семьи Кушенских-Котовых задумывается о своих корнях и предках. Рано или поздно каждый задает себе вопрос: кто мы, откуда пришли? И главное: куда и зачем мы идем?

У героев романа свой собственный ответ, у других семей – другие, может быть, противоположные. Но благодаря таким романам, как «Период полураспада»? мы, надеюсь, приблизимся к пониманию этого великого и трагического века, через который прошли.

Притягательность книги и в том, что автор не просто любит своих героев, она вместе с ними живет их жизнью, она – одна из них. В художественной ткани повествования всюду действуют реальные люди, там нет вымышленных персонажей. Замените на этих страницах фамилии мэра Лужкова, олигархов Гусинского или Ходорковского, других реальных персон на вымышленные имена – и живая картинка тех дней явно поблекнет. Чего уж там! Правдивая история – это всегда конкретные действия конкретных людей.

Надо обладать немалой отвагой, чтобы без ущерба для художественности не отступить от документальной основы. А такой соблазн всегда есть. Ведь додумывать за вымышленных персонажей всегда легче и безопасней. Более того, во второй половине романа автор из рассказчика превращается в действующее лицо. В того, кем она была тогда – одним из участников неоднозначной московской приватизации и непростого процесса создания рыночных основ

нашей экономики. Но и здесь автор преодолел соблазн спрятаться за вымышленным персонажем.

Как известно, в науке «периодом полураспада» называется процесс практически вечного деления вещества. Это удачная метафора описываемого Еленой Котовой процесса нервной и беспокойной утраты внутренних связей некогда большой, талантливой и дружной семьи, ее постепенного дрейфа к другим берегам. Да что одной семьи! Всего российского общества... Как когда-то писал в своих «Строфах» Иосиф Бродский:

Распадаются дома,
Обрывается нить.
Чем мы были и что мы
Не смогли сохранить, —
Промолчишь поневоле,
Коль с течением дней
Лишь подробности боли,
А не счастья видней.

Роман Елены Котовой – это попытка не столько сохранить то, что навсегда ушло, сколько стремление не забывать того, что было. Трогательное человеческое желание, которое оказалось реализованным в виде этой очень достойной книги.

*Николай Злобин,
писатель, историк, политолог*

– Вот это, понимаю, волна! – Юра скинул на бегу тишотку, бросился в серо-песчаный вал воды, катившийся к берегу. Исчез под ним и вынырнул уже после полосы прибоя, где волна уже не могла скрутить его и выбросить назад, на берег.

Эрин стояла у кромки воды, с опаской приглядываясь к волнам. Дождавшись той, что пониже, нырнула под нее и, вынырнув, крепко вцепилась в руку мужа.

Лена и Николай смотрели, как сын и невестка поплыли вдаль между мелкими, уже безобидными, чуть пенящимися барашками.

– Ничто не сравнится с открытым океаном, – вздохнула Лена. – Ни море, ни залив на другой стороне Лонг Айленда. Скажи, кайф?

– Как всегда, почти никто не купается. Не ценят люди своего счастья. И волны великоваты, и вода холодновата... – откликнулся муж.

– Да, никто... Только crazy Russians. Который час, десять?

– Да... Ты снова поднялась ни свет ни заря?

– А то! Уже и йогу сделала, и голышом искупалась, и кофе выпила... Почту прочла, кучу мейлов написала. А вам бы только спать.

Николай покосился на солнце и стал снова переставлять тенты, чтобы надежнее укрыть четыре лежака, уже заваленные полотенцами, книгами, солнечными очками, тишотками и бутылками с водой.

– А впереди еще целый день. Так хорошо, что даже как-то стыдно. Чуня! Ты можешь ради матери переодеть плавки? Не сиди в мокрых трусах, потом будешь носом хлюпать. Вообще мог бы и отцу помочь, он эти тенты уже третий раз закапывает, – Лена, приподняв шляпу, взглянула поверх солнечных очков на сына, которого в семье с рождения звали «Чуней». Тот старательно мазал кремом спину и плечи жены: белокожая, рыжеволосая американка Эрин сгорала на солнце мгновенно, ее требовалось обмазывать кремами по несколько раз в день.

– Мам, не приставай. Пап, какие планы на ужин?

– Я лобстеров заказал, – Николай сосредоточенно вкручивал в песок последний тент. – Ален, у тебя во сколько массаж? В пять? Значит, мамсик пойдет на свои процедуры, а я в East Hampton за лобстерами.

– Идею лобстеров дома на террасе одобряю, надоели рестораны, – Юра растянулся на топчане. Его жена плюхнулась рядом и тут же углубилась в sudoku.

Лена склонила голову над тетрадью с немецкой грамматикой, Николай открыл французский детектив. С полчаса семья лежала в молчании. Волны накатывали на берег, равномерный рокот океана казался тишиной, прерываемой только шелестом воды по песку после особенно мощной волны.

– Мам, не хочешь пройтись? Эрин заснула...

– Она не сторит? Пойдем, я всегда с удовольствием.

– Хочу дойти по пляжу до самого Монтока и обратно.

– Это часа полтора, не меньше.

– Устанем, повернем назад.

– Пойдем, расскажу тебе, какие я феньки для квартиры придумала... – мать и сын встали и побрели на восток навстречу солнцу. Юра шлепал по воде, Лена шла рядом по мокрому твердому песку, оставляя маленькие следы, тут же исчезающие в бороздках воды.

– ...сдержанно, в монохромной серо-песочной гамме, только на балконной двери яркое пятно терракотовой гардины... – рассказывала она.

– ...слушай, этих с ожирением, obese, по-моему, становится поменьше, не находишь? – спросил Юра.

– Не знаю... Главное, чтобы балконные двери вровень с полом, и распахивались так вальяжно на балкон с балясинами...

– Ага... Мам, они на носорогов похожи...

– Недобрый ты... Между прочим, это твои соотечественники.

– Я очень добрый, мама! И к соотечественникам своим отношусь тепло и с уважением.

– Ну да... если бы они еще не разговаривали так громко и не жевали все время что-то...

– Тогда это были бы уже не мои соотечественники. А вот скажи, если ты такая умная, откуда и куда все эти американские соотечественники идут?

– А мы откуда и куда идем? Вот и они оттуда же и туда же. А ванная...

– Да погоди ты с ванной. А почему они так похожи на носорогов? Прямо на ходу оносороживаются! – приставал Юра. – Вон тот, в длинных шортах и пузом... Еще пару минут назад был человеком, а ближе подошел, смотрю, носорог. Оносорожился, пока шел. До пляжа дойдет и примкнет к стаду. Ну и ладно, главное, что ему хорошо. И нам неплохо, тра-ля-ля...

Опять носороги... Не дают они сыну покоя.

Пару недель назад, когда Лена только приехала из России в отпуск, они всей семьей ходили на Бродвей смотреть «Носороги» Эжена Ионеску. В тот вечер, после театра они с сыном болтали до глубокой ночи. Невестку пьеса не впечатлила, та подогрела себе молока, с удовольствием, слегка почмокивая, съела кусок морковного пирога и, бросив в пространство «спокойной ночи», удалилась в спальню.

Николай, проштудировавший зарубежную классику в ранней юности и тогда же составивший обо всем прочитанном твердое суждение, ограничился репликой о стадном и индивидуальном в человеке и удалился в спальню.

– Папсик! Ты такой худенький и маленький, смотри, куда-нибудь под кровать не закатись, – крикнул ему вслед сын. Со свойственным Котовым едким чувством юмора, он не упускал случая поддеть отца, которого на самом деле очень любил. Николай, действительно мелковатый и костлявый, относился к насмешкам сына и жены без обид. Бросив сквозь дверь «Ну и семейка», он зарылся головой в одеяло и тут же заснул.

Юра с матерью остались за барной стойкой на кухне Юркиного дома в Бруклине в одиночестве. Подливая друг другу виски, смаковали смыслы, скрытые в каждой фразе, ниточки, протянутые между ними...

– Юр, а под конец, помнишь? Он сказал: «Может, мне тоже стоило примкнуть к носорогам? Пожалуй, уже поздно... К ним надо примыкать с самого начала...».

– А ты вот к носорогам не примкнула!

– И ты не примкнул...

– Я-то? Они меня, по крайней мере, за своего приняли. В отличие от тебя, кстати. Но в стадо мне неохота. Плохо, наверное?

– Сложный вопрос... Чаю налить?

– Чаю налить... А в стадо не хочу. Хочу сам по себе.

– Самому по себе непросто. Даже грустно.

– Надо просто всегда понимать, что ты – часть чего-то, – Юра вертел в руках кружку, прихлебывая из нее чай. На кружку была переведена черно-белая фотография: Юрин дед в фуражке и полковничьей форме с колодками наград держит на руках шестимесячного внука в чепчике. Это было четверть века назад.

Сейчас они шли по пляжу, навстречу солнцу, каждый молча припоминая тот ночной разговор. Лена смотрела на коренастого смуглокожего молодого мужчину, шлепающего под палящим солнцем, в который раз удивляясь, что у ее мальчика, ее крошки, у Чунечки такие мускулистые волосатые ноги и, более того, слегка намечающийся животик. Сын прервал молчание:

– ...все-таки главный смысл там в том, что человеку необходимо быть частью чего-то. Но не стада, понимаешь? Те, кто не задумывается, откуда и куда они идут, начинают оносороживаться. И спонтанно, для себя незаметно, сбиваются в стадо. Не одному же идти неизвестно куда, согласись.

– Мудрено...

– Но, кстати, сермяга тут есть. Вот сколько лет я тебя прошу нарисовать мне наше генеалогическое древо! Фиг с ними, с носорогами. Хочу знать, откуда я. Имею законное право! Бабушка Катя, тетя Маруся, Таткина бабушка, Мишкины родители, кто кем приходился. Помню, вы с бабушкой упоминали какую-то Тамару, это кто?

– Таткина мама, двоюродная сестра твоей бабушки и тети Иры...

– А правда, что дедушка Соломон до революции держал гостиницу?

– До революции, Чунь, он был маленьким мальчиком. Он родился в девятьсот пятом году. Гостиницу держали его родители...

– Мам, мы даже не заметили, как до Монтока дошли! Пошли назад? Давай дальше, это интереснее, чем про ванную. Я же ничего не знаю, а мне еще своему сыну надо будет все объяснять!

– Может, дочери...

– Нет, уверен, у меня будет сын. Фамилия Котовых точно останется. Мы так, считай, с дедушкой договорились. Но мой сын все равно будет американцем, понимаешь?

– Ты, главное, русскому его учи с рождения.

– Это само собой, я о другом... Ему надо знать, откуда он. Он не должен считать, что он только американец. В смысле... не знаю, как это выразить...

– ...в смысле процесса. На земле появился и живет человек. Кто он? Почему он такой, почему родился в Нью-Йорке, а, скажем, не в Африке. Или не в России. Хотя мог родиться и в России, если речь о твоём сыне. Но не родился. А почему? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Он не сможет в полной мере понять себя и свое место в мире, если будет только американцем. У него должно быть ощущение, что он часть и другой страны, хоть родился вне ее.

– Именно! Чтобы не стать частью стада. Мам, с кем еще я могу так классно потрендеть? Только с тобой! А почему американцам так не свойственно задумываться о корнях, о том, откуда и куда они идут? Потому что это рефлексии русской интеллигенции? Ты как считаешь?

– Я считаю...

Лена присела на песок и стала вглядываться в бесконечность океана. Там, ближе к линии горизонта, он казался совершенно спокойным, почти застывшим, только игра солнечных бликов на воде говорила, что и там, вдалеке, бегут одна за другой волны, невидимые с берега.

– ...когдамотришь вдаль, все совсем по-другому.

– Солнце такое яркое... Мам, еще зажмуриться можно, меня так дедушка всегда учил. Когда зажмуришься, такое можно увидеть... – Юрка плюхнулся на песок рядом с матерью и зажмурился.

– Вот именно... – Лена, помолчав немного, вдруг заговорила:

«...Девочки, Лялька и Алочка, обожали спать вместе. Родители нередко уступали им свою полуторную кровать, сами устроившись на раскладном жестком диване. Лежа без сна в постели, девочки шептались, чтобы не разбудить родителей: “Слышишь, Алка, лифт опять поднимается. Второй этаж, третий... Только бы не к нам... Четвертый...”

– Лифт захлопнулся, слышала? Кажется, звонят. Точно, четвертый...

– Нет, пятый. Но все равно не к нам...

– А вдруг они потом к нам?

– Так не бывает, они только в одну квартиру в ночь приходят.

– А вдруг придут?

– Слышишь, дверь опять хлопнула, лифт вниз поехал. Сегодня точно не придут, спи, давай.

Наутро ночные страхи отступали, начинался новый день, Катя приносила из кухни манную кашу, Милка делала девочкам бутерброды в школу, заплетала Алочке косу, вкалывала Ляльке в волосы белый бант, помогала девочкам натянуть на плечи ранцы и провожала до двери.

Девочки радостно скакали вниз по лестнице, прыгали по квадратикам мрамора на лестничных площадках: ноги вместе, врозь, наперекрест... Останавливались, добежав до этажа с дверью, опечатанной сургучной печатью...

– Я же сказала, четвертый этаж, а ты: “пятый, пятый”. Опять не угадала...

– Пока мы в школе будем, из этой квартиры мебель вывезут, они всегда так делают. Ночью людей забирают, а в обед вывозят мебель, да, Ляль?

– Потом квартира постоит пустая, а потом в ней кто-то новый поселится. Бедная нехорошая квартира.

Зеркальный вестибюль выпускал девочек на улицу. Напротив, у “военного дома”, люди в околывах грузили мебель в грузовик, крытый брезентом. Лялька и Алочка вздыхали, жалея обитателей еще одной нехорошей квартиры, и вприпрыжку бежали в школу...»

– Это какой год, мам?

– Тридцать шестой, думаю.

– Н-да-а... Лонг Айленд, солнце, лобстеры на ужин... Рамка для той, московской картинки, чтобы уж шок, так шок...

Оба замолчали, глядя в океан. Волны начинали расти только вблизи, поднимаясь, заворачиваясь огромной дугой, как будто раскрывая пасть. На мгновение можно было увидеть темно-серую гортань очередной поднимавшейся волны, тут же она падала на берег, поднимая разноцветье брызг, и бежала по песку наползающими друг на друга лужицами, потом ручейками, а затем, обессилив, отползала назад в океан, оставляя на мокром песке пузырящуюся белую пену.

– В общем, ясно, почему американцы не думают, откуда они пришли, правда? Пошли, мам, а то точно сгорим.

Они подошли к их пляжу. Эрин проснулась и теперь снова решала sudoku. Увидев мужа, поднялась, чтобы отправиться купаться.

– Ну что, наговорились? – Николай взглянул на жену поверх очков.

– Обсуждали вопрос вопросов, откуда мы пришли...

– «Откуда мы пришли, куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам не постижим», – тут же откликнулся муж.

– Папсик, посмотри вокруг! Кто, кроме русских, постоянно думает о смысле жизни?! Вон, целый пляж носорогов! Вы как хотите, а мы полезли в воду.

– «Приход наш и уход загадочны, их цели все мудрецы земли осмыслить не сумели». Омар Хайям, между прочим.

Чуня, которого жена уже тянула к воде, не мог не обернуться, чтобы бросить:

– Папсик, какой ты у нас начитанный!

– Вот я и говорю: «Ну и семейка», – хмыкнул Николай, старательно укладывая в очечник очки для чтения. – Ну что, мы тоже в воду?

– Как говорила бабушка Катя: «Мне все равно куда, мне лишь бы со Слоником». Побежали?..

Николай и Лена с наслаждением бросились в волну, которую уже, казалось, утомило палящее солнце. Волна попыталась их закрутить, но у нее не хватило сил, она лишь окатила их веером брызг и покатила, пенясь, дальше на песок. Пена, брызги, песок, – все осталось позади, вместе с криками детей, визжащих на берегу, вместе с бредущими по мелководью американцами, похожими на носорогов. Впереди был только океан и тишина, мерцающая солнечными бликами серо-стальная вода. Они поплыли...

История первая. Сестры

«Семья не размышляла над испытаниями, выпавшими ей волей судьбы и страны, расколовшими ее мир на “до” и “после”. Это “после” затем снова раскалывалось, и не раз, осколки множились в отражениях зеркал вестибюля, убегавших в прошлое, а жизнь, настоящая и особенно будущая, виделась всем прекрасной бесконечностью».

Часть 1. Дворянское гнездо

Дом на Тезиковой

Степан Ефимович проснулся, глянул на часы, лежавшие на тумбочке: девять утра. Снизу доносились скрипы половиц, шорох дверей, звуки шагов. Первый этаж жил женской утренней жизнью, а в его спальне еще была ночь, серость затянувшегося мглистого рассвета едва пробивалась сквозь щелки гардин. Слегка побаливала голова. Ночью, вернувшись с новогоднего бала в дворянском собрании, они с Катенькой еще долго заворачивали в хрустящую бумагу подарки. Рождество, конечно, Рождеством, но не побаловать детей в первый день Нового года? А главное – самих себя. Это же радость – смотреть, как посыпятся дети с лестницы вниз к елке, как в нетерпении станут рвать дорогой пергамент упаковки, как будут гореть их глаза... Тане, конечно, ноты: Степан Ефимович выписал из Санкт-Петербурга чудно изданный «Детский альбом» Чайковского. Оле – куклу, мальчикам – Косте и Николеньке – солдатиков. Малышке Марусе, которой скоро будет два годика, Лиза, горничная, ходившая за детьми, сшила первое платье в пол.

Кончился год, кончился век. За шторами висело утро первого дня тысяча девятьсот первого года. Осенью Степану Ефимовичу исполнилось сорок один. Лежа в постели, он вспоминал, как в детстве представлял себе, что переживет девятнадцатый век. То, что он будет жить в следующем, двадцатом, казалось ему невероятным. Он застанет совсем новый мир, жаль только, что войдет он в него почти стариком, ему будет сорок. Так казалось ему в детстве. Сейчас его все радовало: дети, вечера в дворянском собрании, друзья, лучшим из которых был, конечно, Соломон Стариков, музыкант-педагог от бога, заразивший любовью к музыке все тамбовское дворянство.

Однако пора вставать. С минуты на минуту проснутся дети, бросятся из детских – мальчиковой и девичьей – вниз по лестнице, к елке, к подаркам. Степан Ефимович услышал Марусин плач внизу и торопливые шаги Катеньки вверх по лестнице.

– Катенька, кофе готов?

– Да, Степа, вставай, сейчас Марусю покормлю и будем кофе пить. Лиза пышек напекла.

Жили Кушенские на самой видной улице Тамбова – Тезиковой, недалеко от Тезикова моста. Имелся у них и второй дом на Дубовой, попроще, сдававшийся внаем, и земельное имение в двадцати верстах от города. Имение дохода, правда, не приносило, с согласия семьи там безвылазно жили сестры Степана Ефимовича, ему двоюродные, а между собой родные. Бездетные сестры Елизавета, Дарья и Мария носили, как и мать Степана Ефимовича, фамилию Оголиных. Степан Ефимович нередко вздыхал, что на бездетных сестрах роду Оголиных, произведенных в дворяне еще при Екатерине Великой, и суждено было окончиться. Истории рода он, правда, толком не знал. Как и сестры, помнил лишь дядю, гренадера Василия Оголина, героя войны 1812 года, чье имя в ряду других славных фамилий было высечено на фронте московского храма Христа Спасителя.

Сестры Оголины вели хозяйство, вставая и ложась с петухами, наезжали в город редко и весь год жили ожиданием приезда племянников и племянниц Кушенских, которых привозили на лето, как только заканчивались классы в гимназии. Как делился доход от имения между Оголиными и семьей Кушенских, никто толком не знал, но никто и не бедствовал, а Степан Ефимович так и проходил по губернской ведомости – «землевладелец», ибо хоть и получил диплом юриста, ни места в присутствии, ни собственной практики не имел. Был он грузен, лениво-неспешен и вдумчив. Думы придавали его лицу сердитое и весьма значительное выра-

жение, но едва ли сыскался бы человек добрее, безалабернее и еще менее практичный. Любил он поговорить о политике после обеда в присутствии, любил повозиться с детьми дома, но даже и от детей уставал быстро и снова укладывался с книжкой на диван: читать и думать.

По отцу происходил он из обедневшего шляхтского рода, родители отца, еще в середине девятнадцатого века покинувшие Польшу, осели в Тамбове, где его отец и встретил младшую сестру Оголину. Жена Степана Ефимовича Катенька тоже была польских кровей, но, согласно семейному преданию, бабка ее была цыганка и выкрал ее из табора дерзкий шляхтич. Дети от этого брака соседствовали с отцом Степана Ефимовича, кажется, еще в Польше, но потом тоже подались в Россию. Как бы то ни было, брак Катеньки и Степана Ефимовича воистину свершился на небесах, и смешение стольких кровей наполняло уклад их тамбовского дома невыразимой эмоциональностью, душевностью, любовью к праздникам. Отсюда и пристрастие Степана Ефимовича к возвышенной и отнюдь не всегда практичной общественной деятельности и к музыке, его беспечное отношение к деньгам: есть – хорошо, а нет – и не страшно.

Несмотря на неспешность и даже леность в делах житейских, умственную и духовную жизнь Степан Ефимович вел весьма интенсивную. На два или три года его даже избрали председателем губернского дворянства. Бесконфликтность, снисходительность к людским порокам, отсутствие амбиций и скрытых умыслов привели его на этот пост, и они же, вкупе с его непрактичностью, нелюбовью к нерешаемым проблемам, которые, скорее всего, и решать-то ни к чему, не позволили ему вести дела твердой рукой. От отставки Степан Ефимович не опечалился – «раз так, то, значит, так тому и быть», – и в самом благодушном расположении к роду людскому продолжал свое деятельное участие в жизни города.

Почти десять лет он собирал средства по окладным с имущества потомственных губернских дворян на новое здание Дворянского собрания. Года три назад строительство закончилось, и Степан Ефимович искренне гордился результатом. Вот и вчера, на новогоднем балу, когда они с Катенькой поднимались по лестнице с литыми чугунными стойками перил, сердце его радовалось. Вопреки Михаилу Трофимовичу Попову – самому авторитетному городскому деятелю, убеждавшему архитектора Федора Свирчевского, что в здании должны доминировать древнерусские мотивы, – Тамбов, дескать, лежит в сердце Руси на границе с мордвой, – победили вкусы просвещенной части тамбовского дворянства. Здание радовало строгостью стиля североевропейского ренессанса, изяществом фронтонов, оттенявших обилие лепного декора.

Настоял Кушенский и на том, чтобы в женской семилетней гимназии ввели восьмой класс, окончание которого давало барышням право стать учительницами. Затеял для этого строительство нового флигеля при гимназии, который теперь – уже без его участия – достраивался вторым этажом. Степан Ефимович мечтал, что барышни после восьмого класса разьедутся учительницами по селам, но те все больше уезжали в другие города, или немедленно после гимназии выходили замуж, и если уж уезжали в деревню, то в собственные имения.

Занимался он и училищем для мальчиков, помогая Попову, для которого это стало делом жизни. Уже который год тамбовское дворянство подавало прошения в Петербург на имя государя о выделении городу средств на мужскую гимназию, потому что существующая была переполнена. Кушенский с Поповым убеждали членов собрания не ждать ассигнований из столицы, а начинать строить гимназию на общественных началах. Хотя монархические взгляды Михаила Трофимовича претили Степану Ефимовичу, по вопросу гимназии он поддерживал его полностью. Большинство же губернского дворянства недолюбливало Попова. Поговаривали, что тот близок к пугающему либеральным тамбовским умам «Русскому собранию», уже именуемому, по слухам, в Петербурге «черносотенцами», и что по одной этой причине денег на гимназию не дадут. Степан Ефимович горячился, доказывая, что тем паче надо самим раскошелиться.

Спускаясь по лестнице, он размышлял, хватит ли у Попова настойчивости и чем он может ему в этом помочь при скудости собственных финансов, – все-таки пятеро детей. Но мысли все сворачивали в сторону: скорее бы кончилась зима! Взойдет вдоль немощеных тамбовских

улиц травка, зазеленеют дубы, снова празднично, как это бывает лишь летом, зашумят базары – зимой и базарный день не в радость. Они поедут в деревню, к сестрам Оголиным.

Зима кончилась, а весной Катенька сообщила, что беременна, чему Степан Ефимович обрадовался не меньше, чем в первый раз. Пролетело лето, прошла осень, и в рождественский пост, седьмого декабря 1901 года, родилась еще одна дочь. На этот раз Степан Ефимович, обожавший жену, настоял, чтобы доченьку назвали именем матери. Горничная Лиза убеждала, что это не к добру, но Степан Ефимович мечтал о дочке Кате еще с рождения старшей, Татьяны, а затем и второй, Ольги, пушкинские имена которых были выбраны матерью. Лишь третья дочь Мария получила свое имя каким-то случайным образом, в семье ее звали Маруся, и, странным образом, трепета к ней, столь же сильного, как к Татьяне или новорожденной Катеньке, отец не испытывал.

Татьяна и Ольга ходили в гимназию, Костю определили в мужскую казенную гимназию, в класс к Попову. Взглядов тот был, как сказано, крайне консервативных, воспитывал мальчиков в строгости и в истовой вере, но Степан Ефимович, весьма либерально относившийся к Закону Божьему, видел, что дети воспитываются в любви. Да и музыку в гимназии не забывают, и точные науки в ней в почете, что было наиглавнейшим: сыновьям придется дело свое заводить, чтобы кормить семьи. Не то время и не те доходы, чтобы, как отец, заниматься делами общественными и предаваться размышлениям на диване.

Когда спустя еще год Катенька-старшая вновь объявила о беременности, Степан Ефимович не то чтобы не обрадовался, а скорее огорчился: не чувствовал он в своем сердце способность любить столь же истово, как и остальных детей, еще одного ребенка, не уместилось так много любви даже в его сердце. А жена его Катенька по беременности стала сильно прихварывать. Степан Ефимович тревожился, приглашал к жене врачей, а в общем, больше уповал на то, что все как-то обойдется. Однако, родив весной 1903 года еще одну дочку, которую окрестили Людмилой, а звать с первого дня стали Милочкой, Катенька совершенно разболелась. Врачи поставили диагноз «грудная жаба». Жена была не в силах ходить за Марусей, полуторагодовалой Катенькой-младшей и новорожденной Милочкой. Лизонька, горничная, сбивалась с ног, не чая души в малютках и молясь по ночам за здоровье их матери, но и это не помогло, и на рассвете октябрьского дня девятьсот третьего года Катенька скончалась...

В доме на Тезиковой появилась незамужняя сестра Степана Ефимовича, которую дети звали по имени-отчеству, Лидия Ефимовна. Окончив курсы в Пензе, она жила одиноко в селе Сурки под Кирсановом, в доме, оставшемся ей и брату от отца, мелкого помещика. Дом этот Степан Ефимович давно уже в мыслях записал за Лидой, как записал он и имение за двоюродными сестрами. Лида то и дело наведывалась в Тамбов, но что составляло ее занятия, никто толком не понимал. Осенью 1901 года в ее доме при обыске изъяли два номера газеты «Искра» – за февраль и июль того же года, – с коей поры Лидия Ефимовна состояла под негласным надзором полиции. Приезжая в Тамбов, она редко наведывалась в гости к брату, а к теткам Оголиным, – хотя ее Сурки были по соседству с их имением, – и вовсе не наезжала. Степан Ефимович удивился было намерению сестры переехать к нему, но решил, что, значит, так и должно, раз сестра, никогда не выказывавшая чувств к покойной Катеньке, посчитала своим долгом ходить за детьми свояченицы.

Как подступиться к Милуше, которой не было еще и года, Лида понятия не имела. Двухлетняя Катя и пятилетняя Маруся кроме отца признавали одну лишь обожаемую Лизоньку, которая и мыла их, и одевала, и кормила, и читала книжки перед сном. Старшие девочки, Таня и Оля, почти подростки, держались особняком от малышей сестер, по вечерам вместе музицировали – Таня на пианино, Оля – на скрипке, или вместе же читали в большой зале в уголке, попутно делясь девичьими секретами. Лизу они любили не столь нежно, как Маруся с Катей, но только к ней обращались с каждой детской надобностью: порванным чулком, просьбой о новой сорочке. Лиза, нянчившая Милочку, присматривавшая за остальными, готовившая на

всю семью, сбивалась с ног. А нужно было еще и старшим с уроками помогать, разбирать с ними ноты – Лиза, ученица уже упомянутого Старикова, прекрасно играла на фортепьяно. А кроме девочек еще и мальчики! Костя ходил в третий класс гимназии, Коля завидовал форменной фуражке, ремню и ранцу брата и мечтал, чтобы побыстрее пролетел год, оставшийся ему до начала учебы. Жили мальчики теперь в бывшей спальне матери, и к Лизоньке тянулись не меньше сестер. Любили, когда та делала пирожки, слоеные, воздушные, ругались, если та налиwała кому-то из них больше киселя: кисель в семье варился всегда только из вишни или клюквы и подавался на полдник непременно с оладьями.

Лиза – барышня из хорошей обедневшей семьи, серьезная не по годам – окончила не только тамбовскую высшую гимназию, но и женские курсы, как и Лидия Ефимовна, в Пензе. Вернувшись в Тамбов, учительствовать не пошла, а посвятила себя обучению девочек семьи Кушенских и помощи их матери. Горячо любила она покойную Катеньку, искренне по вечерам оплакивала ее в своей спальне и все более утверждалась в мысли о том, что ее единственно верное предназначение в жизни – поднять и воспитать сирот Кушенских.

В этом раскладе Лидия Ефимовна потерялась. Хозяйничать она не умела, да и не пыталась, в ее руководстве Лизонька не нуждалась, да и не потерпела бы его, несмотря на присущую ей кротость и деликатность. Старшие девочки тетку к себе не подпускали, мальчики вежливо терпели тетнины попытки помогать им с уроками, что у той получалось плохо. Лидия Ефимовна все больше времени проводила в своей комнате, читая книжки, которые выписывала бог весть откуда, писала письма курсисткам-подружкам, разлетевшимся по разным городам. Вскоре она вернулась в присутствие, по вечерам нередко посещала городские кружки, имея в них изрядное число приятелей, все больше из молодежи, неженатых чиновников и студентов, приезжавших в Тамбов на лето из университетских центров.

В 1905 году и в дом на Тезиковой нагрянула с обыском полиция, обнаружившая несколько «преступных воззваний, брошюр, книг и тенденционного характера письма и записки», как обнаружилось впоследствии в жандармской летописи. Степан Ефимович имел с Поповым крупный разговор, насупившись, доказывал ему, что времена нынче не те, и изучать Кропоткина и Маркса запретить никто не может. О Ленине вслух говорить не решился, но, кажется, с подачи сестры, почитывал и его. Лиде, которую странным образом тамбовское общество невзлюбило, никто не сочувствовал, а Степана Ефимовича за многодетность его, за большие заслуги в жизни города все защищали, причем в первую очередь именно от нападков Попова.

Тот же, получив от казны вдвое меньше запрошенного у губернатора и не собрав сколько-либо значительных средств с городского дворянства, в пику всем на собственные средства построил за зданием музыкального училища не одно, а целых два учебных заведения – мужскую гимназию и мужское реальное училище. Степан Ефимович тут же перевел своих сыновей в гимназию, хотя Николаша слезно умолял отца позволить ему ходить в реальное училище. Но Степан Ефимович, которому хоть и не нравилось, что Попов назвал оба своих училища именем святого Питирима и постановил особое внимание в обучении уделять церковнославянскому языку и изучению Нового Завета, твердо считал, что либеральное образование всегда было и будет основой воспитания дворянина, и в реальное училище Колю не пустил. Он и Тане с Олей внушал, что дружить лучше с гимназистами, а не с реалистами. В воззрениях своих он, однако, не упорствовал, сам толком не понимая, куда так стремительно движется новый мир, по-прежнему читая запрещенную литературу, присылаемую Лидией, и внутренне не приемля истово-монархических взглядов своего друга и даже благодетеля Попова. Спорить с ним Степан Ефимович считал излишним – главное же не воззрения, а дела. А посему, когда к 1912 году в очередной раз решалась судьба Питиримовских училищ, снова поддержал Попова, который считал, что просвещение должно быть доступно всем стремящимся к нему. Вдвоем они убедили тамбовское общество открыть доступ в училища детям рабочих и железнодорожников.

Так что взглядов Степан Ефимович придерживался разных, весьма непоследовательных, но главное, что в семье, несмотря на смерть любимой Катеньки, сохранялся заведенный ею уклад: ровно в час подавался обед, в пять – полдник с киселем, к которому пеклись оладьи и ватрушки, а вечером семья музицировала: Таня играла на фортепьяно в четыре руки с Марусей, Оля, Костя и Катя – на скрипке, Коля учился флейте, а Милочку определили по классу виолончели.

Удивительным был город Тамбов того времени, да и вся Тамбовщина с ее странной, во многом дикой культурой, то ли русской, то ли мордовской, а в чем-то и татарской. Любовь высшего сословия к старым русским традициям прекрасно уживалась с его любовью к западному вольнодумству, к культуре европейской. Тамбов переживал необыкновенный всплеск духовной жизни. Самым почитаемым в городе человеком был, как ни странно, отнюдь не Попов, а музыкальный педагог Соломон Стариков, также близкий друг Степана Ефимовича.

Еще в 1881 году группа любителей музыки добилась организации в городе отделения Императорского русского музыкального общества и музыкальных классов. Стариков преобразовал классы в училище и начал строительство здания для него на месте старого крепостного рва. Построили его всего за год, и теперь оно изумляло всех своей красотой: величественным фронтоном и строгой симметрией всех элементов фасада. В нишах на фасадной стене поставили бюсты М.И. Глинки и А.Г. Рубинштейна, не считаясь с затратами, украсили стены внутренних помещений портретными барельефами других великих композиторов и писателей. Обучение детей музыке было занятием, не подвергавшимся сомнению, мало русских городов могли сравниться с Тамбовом по всеохватной любви высшего сословия к музыке. Потому и нередкие приезды с концертами великого Рахманинова воспринимались как само собой разумеющиеся события, как признание выдающегося качества подготовки музыкантов, за которым стоял труд педагога Соломона Старикова и его жены Софьи Львовны.

С особой любовью Софья Львовна относилась к детям Кушенских. Может, потому что те росли сиротами, может, из-за неприязни к Лидии Ефимовне, она принимала самое деятельное участие в их жизни и сделала то, что, кроме нее, вероятно, никто бы не сделал. Считая Лизоньку великой труженицей, беззаветно посвятившей себя сиротам, она убедила Степана Ефимовича, что лучшей матери своим детям тому не сыскать.

Падчерицы и пасынки

К женитьбе отца Таня с Олей, уже совсем взрослые барышни, отнеслись как к удобному для него решению, не осуждая его за забвение памяти матери, но и не питая к Лизоньке чувств иных, чем к доброй гувернантке. Три же младших сестры – Маруся, Катя и Милочка, плохо помнившие Катеньку, считали Лизу, пожалуй, истинной матерью, прибегали к ней за поцелуем перед сном, требовали, чтобы та заплетала им по утрам косы, чтобы разучивала с ними новые пьесы и была первым слушателем их исполнения.

Внешне младшие сестры мало походили друг на друга. Маруся тянулась вверх, была не то чтобы тонка, а скорее просто худая. Взгляд ее узковатых, широко посаженных глаз был отцовский, слегка исподлбья. Катя – маленького роста и худенькая, и Милка – тоже невысокая, но полноватая, смотрели на мир широко распахнутыми глазами, полными бесхитростного интереса к нему. Лишенные отцовского дара рефлексий, они наслаждались детством, его утехами, и даже недетскую серьезность Маруси не могли расслышать за веселыми, звонкими звуками дома на Тезиковой – музыки, закипающего самовара, постоянного скрипа ступеней, шелеста платья Лизы, сновавшей по хозяйству.

В отличие от Тани с Ольгой, три младших сестры не опечалились, когда Степан Ефимович, не без влияния Софьи Львовны Стариковой, решил, что ему более не по карману содержать огромный дом на Тезиковой, и, сдав его внаем, семья перебралась в более скромный –

на Дубовой. В гимназию они ходили охотно, но без пристрастия к знанию, и усилий прилагали лишь настолько, чтобы переходить из класса в класс, не расстраивая папу и Лизоньку. Лиза, хотя и журила девочек, как подобает матери, за плохие отметки, пребывала в убеждении, что знания – вещь не первостепенная для дворянок, а потому уроки неизменно завершались раньше положенного поцелуями, возней с собакой и, конечно, музицированием.

– Милка, что же у тебя по французскому в табеле к концу года будет? – одна Маруся относилась к учебе, как и ко всему, серьезно. – Мы с Катей должны тебя подтянуть. Хоть сегодня сделай урок как следует!

– Маруся, ну скажи, зачем мне знать, как по-французски будет «всадник»? При чем тут всадник? Как можно запомнить это слово?

– «Le chevalier», Мила. Повтори.

– Ну, «le chevalier», повторила. А запомнить как? Забуду до завтра.

– Мила, это просто, – вмешалась Катя. – Шевалье – это как «кавалер» по-русски.

– Действительно... «кавалер»... «Le chevalier», «лё кавалер».

– Видишь, как несложно...

Наутро Мила и Катя, сидя вместе за партой, с нетерпением ожидали, когда учитель французского вызовет Милу отвечать урок. «Не забудь, “le chevalier”, – шептала Катя на ухо сестре, – как “лё кавалер”».

– Людмила, ты сегодня приготовила урок? – спросил наконец учитель. – Как будет по-французски «всадник»?

Мила встала из-за парты, оправила черный передник и с детским кокетством, прикрывавшим гордость за ответ, призванный поразить не только учителя, но и весь класс, произнесла:

– Лё гимназист...

После классов Катя и Милка отправлялись на прогулки, за которые вечером их корила Лиза: в запретные, и потому самые интересные места. Например, на окраину, где жили семьи железнодорожников, где, побросав ранцы, можно было играть в мяч с местными мальчишками. Или на рынок – другое запретное для барышень место, куда они пробирались не через главный въезд со стороны Христорождественской улицы, а окольными переулками.

Знаменит был тамбовский базар. В обилии подвод, прибывавших со всей округи, можно было потеряться, и две гимназистки в коричневых платьях с ранцами за плечами с наслаждением бродили среди изобилия еды, пробовали все, что предлагали им торговцы, глазели на огромные бруски сыра, продававшегося по 25 копеек за фунт, на бочки кетовой икры. Откуда в Тамбове кетовая икра? Об этом девочки не задумывались, но икра, хоть и привезенная из-за тридцати земель, стоила те же 25 копеек за фунт. Четверть молока стоила 10 копеек, а десяток яиц – шесть.

Кое-как сделав уроки, три сестры бежали во двор играть. Такого количества детей, как в семье Кушенских, не было ни у кого, и их двор на Дубовой собирал детвору со всей округи.

– Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, – закричала Катя и бросилась через двор. Бесхитростная Милка тут же и нашлась за поленницей, но тем временем Николаша, выскочив из-за сарайчика, где хранилась дворовая утварь и упряжи, добежал до коня с криком «палочка-выручалочка». Катя нашла еще двух девочек за кустами, а соседский мальчик, как и Николаша, выручил себя сам. Не было только Маруси. Катя огляделась, перевела с недоумением глаза на ребят: «А Маруся где?» Действительно, все возможные места, где можно было спрятаться, уже обнаружены. Маруся, конечно, из них самая изобретательная, но где она? Всей стайкой прочесали двор и закричали: «Маруся, мы сдаемся, ты где?»

– Я тут, – раздался Марусин голос.

– Где, где ты? – дети ринулись на голос. В углу двора рабочие начали было копать яму, предназначенную стать новой выгребной.

– Тут я, в яме, вылезти не могу, – подняв глаза вверх, объявила Маруся всей окружности детских изумленных глазищ, опоясавшей края ямы и отделявшей ее темноту от белизны облачного неба хохолками волос, косичками и оттопыренными ушами.

– А что делать? – спросила Милка.

– Папе только не говорите.

– Как ты туда залезла?

– Толкалась коленками и залезла, а теперь коленки в землю уперлись и не разгибаются, я и не могу вылезти. Вы мне в ужин поесть принесите, ладно? Только немного, чтобы к утру я похудела и вылезла.

Вечером за ужином Степан Ефимович, обведя глазами стол, спросил: «А Маруся где?» Катя и Милка, переглянувшись, уткнулись носами в тарелку, а Николаша побледнел. Лиза в тревоге смотрела то на детей, то на мужа.

– Маруся во дворе спряталась... – пролепетала Катя.

– От кого? – с интересом спросил отец. – Не знаете? Ну что же, тогда давайте ужинать.

– А как же Маруся? – теперь уже пролепетала Милка.

– Поедим и пойдем ее искать, – ответил отец.

После ужина Степан Ефимович послал за рабочими. Те пришли поздно, подвыпивши. Марусю, всю вымазанную, вытащили из ямы Лизонька. Степан Ефимович, заявив, что о наказании они поговорят наутро, велел жене искупать Марусю и уложить всех детей поскорей спать. Больше других случившимся был потрясен Костя: грязная, оборванная барышня, которую лопатами из ямы откапывают пьяные рабочие...

...Летняя пыль стелилась по улицам Тамбова. Уже который год дворянское собрание решало замостить улицы, но ни на тротуары, ни на дощатые настилы в казне не было денег. В хорошую погоду еще куда ни шло, разве что подолаы светлых платьев барышень быстро чернели, а пыль, что покрывала их туфельки, штиблеты и сапоги их кавалеров, и вовсе бедой не считалась. Но вот после дождей – беда: и дороги, и обочины все в лужах. В них и купавшуюся свинью нередко увидеть можно было, а уж парочки, отважившиеся выйти на прогулку, только и глядели, как лужи половчее обойти, да не быть обрызганными проезжавшей мимо коляской или бричкой.

Костя в тот день, встретив у здания женской гимназии барышню, провожал ее до дома, увлеченно рассказывая, что он, подобно Байрону, разуверился в прелести жизни и лишь ищет сердце, способное понять его терзания. Гимназистка слушала, кокетливо хихикая, не вдумываясь в то, что повествовал ей Костя, а только радуясь, что самый интересный кавалер города избрал ее для своих откровений. Они шли по немощеной Дубовой улице, едва просохшей после дождей, – хоть нынешний дом семьи Кушенских и уступал по красоте дому на Тезиковой, Косте хотелось показать его своей пассии. Они поравнялись с домом, Костя с гордостью бросил взгляд на дубовые ворота с резными наличниками, под которыми, правда, образовалась изрядная яма, прорытая свиньями, коих на заднем дворе разводили для семьи Кушенских приходящие рабочие. И тут из-под ворот, из ямы, им под ноги на пузе выползла Катя в одной сорочке, вымазанной грязью. Костя потерял дар речи, а вслед за сестрой выползла и Милка, радостно отирая грязь с лица:

– Костя, пришел уже! Пойдем обедать, мы только тебя ждем! – объявила она.

Костя перевел глаза с замурзанных сестер на свою пассию, сдернул с головы фуражку и бросился в дом. Пассия застыла на месте, глядя на грязных девчонок, те поспешно ретировались назад во двор тем же путем – на пузе через дырку под воротами – и тоже поспешили в дом. Они слышали только бег Кости наверх по ступенькам и звук захлопнувшейся двери спальни, которую он делил с Николашей.

– Что случилось? – Лизонька, сердцем чуявшая беду, приключавшуюся в этом доме почти ежедневно, выскочила из кухни, отирая руки о передник. – Боже, в каком вы виде! Девочки, где вы так вывалялись?

– Под воротами, – как ни в чем не бывало ответила Катя, а Лизонька, вздыхая, уже волокла обеих в ванную, крикнув: «Маруся! Скорее неси кувшин кипятка и ведро воды».

К обеду Костя не вышел. Лизонька поднималась к нему наверх не раз и не два, стучалась в запертую дверь, безуспешно уговаривала выйти. «Что же такое вы с ним сделали?» – вопрошала она Катю и Милку, но те лишь пожимали плечами. Не вышел Костя и к ужину, но ближе к ночи он открыл дверь своей комнаты Оле, с которой у него был какой-то незримый и не обсуждавшийся душевный союз.

– Я опозорен... Впервые пригласил на прогулку барышню, о которой мечтал! Сколько ночей я думал, как подойду к ней, о нем смогу ей рассказать, чтобы она захотела слушать меня, понять мою душу. Кем я предстал перед ней? Мои сестры, дворянки... С голыми ногами и плечами выползают из подворотни! Кто теперь без смеха посмотрит на меня, кто поверит в благородство моей души? Я их ненавижу... Это повергает меня в ужас! Как я, дворянин, христианин, могу ненавидеть своих сестер? Но они погубили всю мою жизнь...

– Костя, все забудется, да и пассия твоя – кто это была, кстати?

– Ах, что ты, Оля, понимаешь. Как это может забыться? А эта девушка, она... она же особенная. Сколько времени я ждал ее.

– Да кто она?

– Да какая теперь разница...

Увещевания Кости продолжались долго, уснул он лишь под утро, а за кофеем на следующий день Оля с Лизонькой обсуждали тонкую Костину нервную организацию. Два дня Костя провел у себя в комнате, не поднимая штор, то берясь за скрипку, то за книгу переводов Гейне, не в силах выразить свою скорбь, и не пуская к себе никого, кроме Оли, приносившей ему чай и бульон. К выходным немного оправился, стал выходить к столу, все еще в глубокой печали, но в понедельник отважился пойти в гимназию, где шла последняя, предэкзаменационная неделя. Еще через три недели вся детвора Кушенских уехала, как обычно, на все лето в имение...

Осенью эта история и вовсе забылась, тем более, что Костя уже и сам бы не вспомнил, какая именно пассия оказалась свидетелем его позора, но в нем окончательно утвердились возвышенный дух, неизменное томление сердца и сумрак души, питаемые лишь чувственно плачущей скрипкой, да чтением Гейне, Байрона и «Страданий юного Вертера» в переводе, а то и «Исповеди сына века» на французском, который знал он, однако, крайне плохо. Но и эти произведения не выражали и не могли выразить душевные терзания, которые были уделом лишь его одного.

В ту осень он влюбился в дочь одного из друзей Попова, иными словами, девушку из высшего общества. Пару месяцев лишь вздыхал, не смея подойти к неземному созданию, потом отважился и вскоре уже регулярно поджидал Глашу – так звалась красавица – у гимназии, провожал домой, приглашал на музыкальные вечера в училище, которые устраивал неутомимый Стариков, с чаепитиями, обсуждениями творчества Глинки и Чайковского. Наконец Костя пригласил Глашу, с которой в мыслях уже твердо вознамерился связать свое будущее, в гости на Дубовую. Лизонька, хорошо помня расстройство Кости от афронта первого столкновения его чувств с прозой жизни, погрузилась в устройство семейного воскресного праздника, на котором меню и сервировка обеда призвана были тонко и гармонично оттенять предшествующее обеду продуманно-изысканное музицирование.

Приготовила она закуски: грузди соленые, кетовую икру, свой семейный винегрет, который все так любили. После закусок был задуман прозрачный бульон в фарфоровых чашках, жаркое на второе, а к чаю Лиза напекла сухого печенья, решив отказаться от оладий и варенья, которым младшие девочки неминуемо измазались бы.

Глаша пришла нарядная, в белой шелковой блузке и юбке в пол. Вьющиеся волосы были забраны в косу, украшенную темно-синим бантом в цвет юбки. Девушка она была воспитанная, да и оробела слегка от визга посыпавшихся с лестницы ей под ноги младших сестер Кушенских. Церемонно поздоровавшись со Степаном Ефимовичем и Лизонькой, Глаша прослушала сонату для скрипки и фортепьяно, которую исполнили Маруся с Катей, струнный квартет для двух скрипок, альты и виолончели, а тут уж и Лизонька стала просить всех за стол.

От морса Глаша отказалась, попросив воды. Отказалась и от закусок, сказав, что не голодна. Лизонька видела, что Глаша стесняется, видимо, Костя изрядно задурил ей голову рассказами о своем неземном предназначении. Подали бульон и блюдо крохотных слоеных пирожков с мясом. Глаша протянула руку и положила на свою тарелку пирожок. Отхлебнув бульона, надкусила... Затем съела и второй, а потом и третий. «Спасибо, я сыта», – сказала она на предложение Лизоньки положить ей жаркого. «Что же вы, Глаша, так плохо кушаете?» – спросила Лизонька и только тут заметила, как помрачнел Костя. Он отказался и от жаркого, и от печенья, пил пустой чай, уткнувшись в свою чашку, и усмехаясь чему-то лишь одному ему ведомому. После чая все семейство вновь двинулось в музыкальную комнату. После рапсодии Листа, призванной по замыслу Лизоньки всех поразить виртуозностью тринадцатилетней Маруси, в программе стоял струнный квартет Рахманинова в исполнении Оли, Кати, Милки и Кости, но брат принялся всех уверять, что он не в духе и игры не получится. Проводив Глашу, вернулся на удивление быстро, прошел в свою комнату, не обронив ни слова. К ужину не вышел, но когда семейство уже собиралось подниматься из-за стола, спустился вниз и объявил:

– Я в Глаше разочаровался.

– Что, как, почему...? – загалдела женская часть семейства Кушенских.

– Она совсем не то, чем представлялась. Ела пирожки! Как же горько я ошибся, думая, что она неземное создание, а она... В ней нет ничего особенного, – Костя смахнул слезу и удалился в спальню.

К Костиным любовным драмам семья постепенно привыкла и относилась иронически, тем более, что они излечивались сами собой. К осени он пошел в последний класс гимназии, ему стукнуло семнадцать, он учился прилежно, мечтая изучать горное дело. Николенька вознамерился после гимназии отправиться в кадеты, барышни-сестры подтрунивали над ним, говоря, что место Николаши – в армейском оркестре, вместо флейты он станет играть на трубе, Коля сердился на сестер. Не в ходу в семье Кушенских были серьезные разговоры о будущем, профессии, заработке. Атмосфера дома была пропитана скорее любовью и нежностью его обитателей друг к другу, нежели размышлениями о жизни, о том, чего же ждут от нее беспечные Катя с Милкой, серьезная Маруся или уже почти взрослые Таня с Олей и мальчишки.

Провинция Российской империи

Кажется, именно Лидия Ефимовна еще в 1905 году привела в семью Кушенских Вадима Подбельского, одного из своих тамбовских приятелей, мечтателей-революционеров, которому она помогала с устройством большевистской типографии. Тайно, конечно, ибо такого не одобрил бы даже свободомыслящий Степан Ефимович. Видимо, именно от Лиды или Подбельского и получил Степан Ефимович номер газеты «Искры», изъятый полицией при обыске. Знакомство с Подбельским было недолгим, через год подпольщик уехал во Францию, опасаясь ареста и ссылки или каторги, а когда по возвращении нанес один из первых своих визитов в городе именно Степану Ефимовичу, то пришел не один, а со своим другом, тамбовским гимназистом Николаем Чурбаковым, и тот зачастил в дом на Дубовой. Зачастил из-за Татьяны, старшей сестры, скрывать восхищение которой он не мог и не считал нужным.

Происходил Николай Васильевич Чурбаков из богатой купеческой семьи, жившей в Кирсанове. Родители держали мельницу, снабжавшую мукой едва ли не треть Тамбовщины. В отли-

чие от Тамбова, славившегося своим музыкальным училищем, Кирсанов славился училищем медицинским и особенно больницей в соседнем селе, Карай-Салтыковке, где работал знаменитый на всю губернию и, пожалуй, на всю Россию, врач Матвей Дамир. Николай Чурбаков после гимназии отправился в Харьковский мединститут с твердым намерением вернуться в Кирсанов работать непременно с Дамиром. Однако по окончании института посчитал, что его долг – немедленно отправиться в Саратовскую губернию, где началась эпидемия чумы.

Власти запретили Подбельскому жить в Тамбове, зато странным образом разрешили жить в гораздо более значительном городе, Саратове, промышленном и культурном центре с населением в сто двадцать тысяч, бывшем в ту пору истинной столицей Поволжья. Именно там и продолжилась дружба Подбельского с Чурбаковым. Чурбаков тоже не чурался сходок и подпольных кружков, по слухам, в одну из своих поездок в Москву, еще будучи студентом, даже тайно прооперировал на чьей-то частной квартире террориста, который подорвался при изготовлении очередной бомбы, неизвестно для кого предназначавшейся. Но с Подбельским он сошелся не столько на почве революционной деятельности, сколько театра – до чего хорош был в те годы Саратовский драматический театр, – но, пожалуй, еще более – на почве карт.

Картежник Чурбаков был страшный, ничто не приносило ему такого наслаждения, как вечер, проведенный за игрой в преферанс, который он считал игрой не столько азартной, сколько интеллектуальной, но тем не менее впадал-таки в неимоверный азарт, неизменно заканчивая вечер либо крупным выигрышем, либо крупным же проигрышем.

Через несколько месяцев власти, видимо, спохватились и сослали Подбельского в Вологодскую губернию, а Чурбаков вернулся в родной Кирсанов и тут же возобновил поездки в Тамбов с визитами к Кушенским. Выяснилось, что и Таня еще с первой встречи была влюблена в Чурбакова.

Высокий, статный молодой врач посватался к Тане весной 1911 года, тогда же и благословили их Степан Ефимович и Лизонька. Свадьбу решили играть сразу после Рождества: столько благородства в зимней свадьбе, в вечернем венчании в церкви, чье тепло, запахи и свечи так естественны и отрадны морозными вечерними сумерками. Николай не мог дожидаться приезда в его дом в Кирсанове красавицы жены, так не похожей на остальных сестер Кушенских: с повадками великосветской дворянки, с любовью к жизни на широкую ногу, с рассеянной снисходительностью к детской искренности младших сестер. Но тут он получил приглашение в ординатуру Харьковского мединститута, и Таня, конечно, решила ехать с ним.

Свадьбу играли все же не в Кирсанове, а в Тамбове, на чем настояли Степан Ефимович и все дети Кушенских.

– Лиза, мы что, с Милой будем в одинаковых платьях? – спрашивала Катя еще с осени.

– Конечно, Катюша. Вы обе, и Марусенька, и Оля. Вы же пойдете за невестой. Я уже муслина розового накупила, на этой неделе крой закончу и отдам швеям. А сколько Тане пошить надо: белье, сорочки, блузки...

– А Тане кто платье шьет?

– Таня выписала платье из Москвы от модной портнихи. Николай Васильевич снова в Москву собрался, обещал вернуться с платьем.

– А куда он привезет его, сразу в Кирсанов?

– Не знаю я, Катюша, куда он привезет платье... Таня придет, сама у нее спросишь. У нее свои твердые убеждения, как надо все устроить.

– А вдруг наши платья к ее не подойдут?

– Подойдут, подойдут. Танечка наказывала, что сестры непременно должны быть в розовом.

– А Николай Васильевич будет в форме?

– Милка, господь с тобой, в какой форме, он же врач, а не военный!

– Значит, будет как все, во фраке? А папá?

– Девочки, давайте перед сном об этом поговорим. Таня уже к концу недели придет, а обувщик еще за ваши туфли и не брался, вот не успею я все сделать, что тогда будет?

– Можно мы с Милкой с тобой вместе к обувщику поедem?

– Девочки, вам репетировать надо! Вы же с Олей в дворянском собрании играете, когда гости собираться будут. Где Оля, кстати? Опять с собакой возится, бездельничает? Оля! – крикнула Лиза, – займи сестер, работайте, репетируйте! Что ты, в самом деле, мне совсем не помогаешь!

Свадьбу сыграли не слишком пышную, но красивую, с ужином в дворянском собрании после венчания и, конечно, непременно тамбовским концертом. Соломон Стариков составил подобающую случаю программу, лучшие музыканты города играли вальсы Штрауса, мазурки Шопена, попури из «Летучей мыши» и «Веселой вдовы». Переночевав в родительском доме, наутро Татьяна отбыла с Николаем на двух санях в Кирсанов. О свадебном путешествии никто не помышлял, Николаю надо было возвращаться к больным, Татьяна лишь мечтала обустроить кирсановский дом и скорее перебраться в Харьков.

Спустя год после замужества Татьяны Степан Ефимович внезапно захворал. Моеся в бане, срезал он на большом пальце ноги давно мешавшую ему бородавку. Вскоре палец раздулся, за ним стопа, Лизонька лечила мужа мазями, травами, ихтиолкой. Николай Чурбаков, срочно призванный к тестю, сразу заподозрил гангрену, но предложить Степану Ефимовичу отрезать стопу до щиколотки не решился. Потом наметилось улучшение, опухоль стала мягче, боль утихла, врачи решили, что воспаление пошло на спад. Спустя пару недель оно вновь обострилось и поползло дальше, вверх по ноге. Чурбаков, спешно призванный в Тамбов, застал картину совсем безрадостную. Он как мог уговаривал тестя ампутировать ногу, тот сопротивлялся в силу характера, не лишенного изрядной доли фатализма, а Лизонька лишь плакала, заламывая руки. Стояло жаркое и сухое тамбовское лето, девочек с Николашей отправили, как обычно, к сестрам Оголиным, Чурбаков разрывался между Кирсановом и тестем, Таня приезжала чаще, но оставлять мужа одного и быть все время при отце полагала невозможным, и лишь Лиза сидела при муже неотлучно.

Детвору Кушенских привезли из имения до срока, в середине августа, попрощаться с отцом. Приехал и восемнадцатилетний Костя, учившийся в Харькове на химика. Степан Ефимович лежал в горячке, плохо узнавал родных, но отсоборовался, от чего страшная боль в ноге сразу утихла, что обрадовало всех, кроме Чурбакова, по понятным причинам. К ночи Степана Ефимовича не стало.

Многие лета

– Катя, мы сегодня в казаки-разбойники играем! Николаша приведет братьев Сурских. Маруся, ты Костю уговоришь, или он опять в меланхолии?

– Опять в казаки-разбойники! Лучше бы в серсо поиграли. В субботу буду вас взвешивать, если от беготни кто-то похудеет, то всю следующую неделю купаться не пойдет, – откликнулась тетюшка Елизавета Павловна.

– Елизавета Павловна, но сегодня-то мы пойдем купаться?

– После полдника, обязательно, Милуша...

Это было задолго до смерти Степана Ефимовича в поместье Оголиных, где детвора Кушенских проводила каждое лето. Каждое из них было безмятежным, дружным, наполненным летним зноем, бездумной радостью, музыкой и играми. Каждое было похоже на предыдущее, и в самой этой неизменности была прелесть. Старшая Татьяна, правда, уже жила собственной жизнью, а Костя чурался детских радостей. Всем же остальным они были по сердцу, им не мешала разница в возрасте, и в казаки-разбойники играли и старший брат Николаша, и Милка, на одиннадцать лет моложе его, и все остальные.

В год смерти отца Николаша, окончив гимназию, уехал вслед за Костей учиться в Харьков, в доме с Лизонькой остались одни девочки. Но лета в имении продолжали наступать каждый год, и ничто не меняло раз и навсегда заведенных порядков. Девочки звали тетушек по имени-отчеству и на «вы», никому в голову не пришло бы сказать «тетя Лиза» или «тетя Даша». Главной заботой тетушек было, чтобы дети дышали свежим воздухом, занимались музыкой, хорошо ели и непременно за лето поправились.

Пробуждение в доме Оголиных происходило в девятом часу, все спускались вниз пить кофе со сливками. После занятий музыкой, в одиннадцатом часу, завтракали творогом со сметаной или сырниками, а затем детвора резвилась на воздухе, нагуливая аппетит для обеда, который подавался в час дня. Супы делали больше холодные – щавелевые щи, свекольник, ботвинья, окрошка, непременно легкие; наваристый борщ или, упаси бог, солянка в меню отсутствовали. На второе – рыба, а то и просто отварное мясо с картофельным или морковным пюре, непременно ягодный морс или компот. После обеда полагалось поспать, но тетушки в данном вопросе не упорствовали, даже приветствовали, когда девочки вместо сна просто лежали с книгой. В три – чай с печеньем, а в пять – полдник. На полдник всегда был свежесваренный, ни в коем случае не оставленный от обеда горячий ягодный морс и свежие оладьи или пышки. После полдника наступало время купанья, в восемь – ужин.

Именно купанье, а не музицирование или игра в казаки-разбойники, было главным событием дня. После полдника, когда солнце уже не пекло, – в семье твердо придерживались убеждения, что купаться в полуденную жару вредно, – парами и тройками шли неспешно к купальням, процессия растягивалась по тропинке, ведущей к реке Цна сначала через яблоневый и вишневый сад, потом через редковатый лиственный лесок, открывавшийся, наконец, на поляну. Река была неглубокой, с небыстрым течением, с глинистыми берегами, покрытыми спускавшейся в воду растительностью, и, конечно же, с нависшими кое-где над водой ивами. Местами ее покрывала тина, а местами вдоль берега на поверхности воды стояли пятна кувшинок. У берега на значительном расстоянии друг от друга стояли две купальни – мужская и женская. Хотя девочки и мальчики купались в отдалении друг от друга, все купались в сорочках, осторожно, стараясь не занозить ноги, проходили по дощатому, нагретому солнцем помосту купален, спускались по ступенькам в воду. Затем в купальнях же переодевались, складывали мокрые сорочки и полотенца в короба, мужская и женская половина общества воссоединялись и так же медленно, с разговорами шли назад, к дому, ужинать.

Так было и до, и после смерти Степана Ефимовича, так было и в 1914 году, главным событием которого стала отнюдь не война – она не слишком потревожила неспешное течение жизни семьи Кушенских, а приезд в середине лета из Харькова Тани с дочерью, уже годовалой Тamarой.

– Тamarочка, куколка наша. Живая кукла, – Катя с Милкой тормозили племяншку, разглядывали старшую сестру, как всегда выглядевшую красавицей, одетую по последней харьковской моде. – Таня, что у вас?

– У нас мобилизация...

– Какая мобилизация...?

– Ах, девочки... Николай записался в санитарный поезд, если войну объявят, на фронт отправится, я места себе не нахожу... Но тут уж ничего не поделать. Он твердо решил идти на фронт, если Россия тоже вступит в войну. Считает, что его долг – оперировать раненых.

Германия объявила войну России через три дня после отъезда Тани с дочерью к мужу в Харьков. За лето много мужчин из окрестных сел забрали в солдаты. Тетушкам, Елизавете Павловне, Дарье Павловне и Марье Павловне, прибавилось забот в имении: находить людей, чтобы скосить траву, поправить изгородь, привезти дрова, это становилось все труднее. Но семья приспособлялась и неизменно радовалась жизни.

Маруся крепко сдружилась с детьми Стариковых, особенно с их дочерью Шурой, дни и ночи напролет проводившей время либо за фортепьяно, либо за чтением женских романов. Шурка Старикова была девушкой с выдающимися внешними данными, особенно завораживали ее глаза с поволокой, надменные и чувственные одновременно. Чувственностью, почти страстностью были исполнены и ее жесты, и походка. Природная еврейская энергетика вкупе с музыкальным даром и любовью к женским романам образовали адскую смесь, и более несхожих подруг, чем Шурка и сдержанная, молчаливая, угловатая Маруся с ее неприметными серыми глазами, было невозможно себе представить. Роднили их, пожалуй, лишь любовь к музыке и одним им ведомые цели. Шурка обещала стать выдающейся пианисткой, с полным правом рассчитывала на серьезную музыкальную карьеру, подолгу обсуждала с Марусей, не податься ли им в столицы. Маруся соглашалась, хотя она не горела, как подруга, страстью непременно выходить на сцены лучших концертных залов, но и не говорила, что видит свое будущее по-иному.

Одно лето сменялось другим, прошел пятнадцатый год, шестнадцатый. Летом семнадцатого приехавшие в имение на каникулы Костя и Коля говорили только о революции, но для Кати и Милки все это было как-то далеко. Лишь Оля страстно относилась к происходящему, втягивая Марусю в обсуждения того, как ужасно, если царь отречется от престола, если Временное правительство не обуздает чернь в Петрограде и Москве, не остановит немцев и не накормит голодающих горожан. Маруся все больше сближалась с Олей, они и внешне все больше походили друг на друга, обе высокие, мосластые, только Оля, впрочем, как и Шурка, в отличие от молчуньи Маруси, горела страстями, невероятными переживаниями. «Сложный характер», – повторяли Лизонька и тетушки. «Скорее вздорный», – иной раз бросала Дарья Павловна.

Оля вечно что-то доказывала, горячилась, Маруся слушала, похоже, соглашаясь с сестрой. Кате и Милке казалось, что они говорят о каких-то сложных и надуманных материях. Что ужасного в лозунгах «мир – народам», «землю – крестьянам», «хлеб – голодным»? Разве кому-нибудь нужна война? Таня из Харькова пишет, что сутками не видит мужа, который оперирует раненых и калек, поступающих с фронта эшелонами. А земля? Зачем земля Кушенским, они же не будут работать на ней? Они будут музицировать, зарабатывать деньги, а хлеб, масло, молоко будут покупать у крестьян. Почему не отдать землю крестьянам? Тем более, что вся Тамбовщина славилась крепкими крестьянскими хозяйствами, которые так славно снабжали их город, пока не началась война.

В конце октября пришло известие о победе вооруженного восстания в Петрограде, но в городе ничего не поменялось, разве что появилась газета «Известия Тамбовского совета рабочих и солдатских депутатов».

– Вы не понимаете, что такое большевики! – повторяла Оля. Она ходила по комнате большими шагами из угла в угол, твердо ступая по поскрипывающим половицам, то обхватив свои острые плечи руками, то сжимая руки так, что белели костяшки пальцев.

– Оля, ты все видишь в мрачном свете. Это потому что война. Разве большевики – не интеллигенция? Папа покойный сочувствовал большевикам. Помнишь, как он прятал в доме Вадима, друга Николая Васильевича? Помнишь Подбельского, Оля? Образованный, порядочный человек. Николай Васильевич и Таня по-прежнему к нему относятся с предельным уважением. Идея равенства людей – это, в общем, справедливо. Каждый человек имеет право пользоваться своим трудом.

– Маруся, возможно, то правительство, которое в Петрограде, – это интеллигенция. Образованные, мыслящие люди, много лет прожившие за границей. Но они не брезгают опираться на чернь! На чернь, ненавидящую нас, дворян! Ненавидят купечество, промышленников. Тамбовом будет управлять совет рабочих и солдат... Как ты себе это представляешь?

– Не знаю, Оля. Посмотрим... Катя, Милуша, идите к нам. Оля, давай мы лучше сыграем что-нибудь все вместе.

– Маруся, знаешь, я, возможно, скоро выйду замуж. За Ермолина...

– За Ермолина? Того самого? Он в Тамбове? Я думала, он на фронте...

– Вернулся недавно.

– Так он же офицер...

– Маруся, не задавай ненужных вопросов. Не просто офицер, а белогварейский офицер. Это же надо... Белая гвардия, цвет русского дворянства. Теперь это главные враги черни...

– Так как же...?

Маруся не могла уложить в голове услышанное. Весной тринадцатого года на балу по случаю окончания классов в гимназии Оля весь вечер танцевала с Ермолиным, статным юнкером, служившим... Где он служил тогда, Маруся не могла припомнить. Все лето он ездил к ним в имение, когда семья вернулась в город, продолжал наезжать из полка. Все больше по случаю балов или музыкальных вечеров, на которых он не отходил от Оли. Лизонька тревожилась, не понимая его намерений, но Оля решительно пресекала все разговоры родных на эту тему. Катя и Милка приставали с вопросами к Марусе, но та отмалчивалась, было неясно даже, делится ли с ней Оля своими чувствами, планами на будущее. Осенью следующего года Ермолин, как и все, ушел на войну. Оле время от времени приходили от него письма, но при всей ее темпераментности, горячности, несдержанности, Оля была готова часами обсуждать с сестрами что угодно, кроме Ермолина.

– Так как же, Оля?

– Маруся, я прошу не задавать глупых вопросов.

– Скажи мне хотя бы, ты счастлива?

– Ах, Маруся, если бы дело было в нем одном.

– Что ты хочешь сказать?

– Пока Ермолин был на фронте, я очень привязалась к Владимиру Ивановичу, помнишь, я знакомила тебя, инженер с нашего завода...

– Оля, я ничего не понимаю! Какой инженер? Ты к нему, как ты выражаешься, привязалась? Тогда как же Ермолин?

– Да, я выхожу за Ермолина замуж.

– Тогда как же твой инженер? Владимир Иванович, правильно?

– Ах, Маруся... Я простила с Ермолиным, когда он ушел на войну. Но он вернулся, значит, судьба... А Владимир Иванович...? Жизнь все расставит по местам со временем. Я только не хочу слушать, как ты, Таня, Костя... Особенно Лиза... Да и Катя с Милкой... Не хочу слушать, как вы будете обсуждать меня, его, Ермолина... Вряд ли вы нас поймете... Да и трудно понять. У нас в семье все считают себя вправе судить о других, непременно иметь мнение и обязательно его высказать.

– Оля, поступай, как тебе подсказывает сердце. Только прошу тебя... Не обижай семью. Время и так трудное. Мальчики разъехались, Таня в Харькове. Мы с Катей и Милкой только остались, да Лиза...

К зиме восемнадцатого года базар в Тамбове обеднел. Ни кеты, ни сыра, только картошка, хлеб. Молока, правда, было еще вдоволь. Жаркое, рыба, пирожки исчезли из меню Кушенских. Не хватало и денег. Лизонька крутилась, как могла, чтобы прокормить трех сестер, оставшихся в доме.

Оля переехала жить к Ермолину, зарегистрировав брак в городском совете, венчаться они опасались. В феврале в городе прошел крестный ход в знак протеста против декрета советского правительства об отделении церкви от государства, в городе на церковь начинались гонения. Владимир Иванович работал главным инженером на заводе, открывшемся на базе артиллерийских мастерских, переведенных в город откуда-то с запада. Как и чета Ермолиных, он

ненавидел власть, которой служил, возможно, по этой причине он и удержался на орбите Олиной семьи на правах «друга». Тем временем, в марте, в городе создали губчека. «Все одно к одному, – повторял Владимир Иванович, приходя к Ермолиным по вечерам, – но жить как-то надо».

Весной власти закрыли гимназии, реальные и епархиальные училища, преобразовав часть из них в трудовые школы. Катя гимназию уже окончила, а Милка еще ходила в последний класс. Оля беспокоилась, что у Милки не будет вообще никакого аттестата. Сама Милка об этом не беспокоилась. Она была самой покладистой, самой ласковой из сестер, поистине безмятежной. Любила свою виолончель, усердно играла этюды, пьесы, а к учебе – в гимназии или в трудовой школе – относилась как к чему-то надуманному. Из Харькова к себе в Кирсанов вернулась Таня с дочерью Тamarой, они тут же прикатили в Тамбов, в гости к сестрам.

– Николая забрали в Красную армию.

– Не может быть, – охнула Оля.

– Да, Оля. Теперь он старший хирург 601-го санитарного поезда Юго-Восточного фронта. Вывозит раненых с передовой и оперирует прямо в поезде. А Красная армия сражается с генералом Корниловым. С потомственным русским офицерством. Не могу себе этого представить.

– Это невозможно представить, он что сам к ним... – начала было Оля...

– Лишь бы вернулся, – перебила ее Таня. – Ни о чем больше говорить не хочу.

– Танечка! Какое счастье, что ты приехала. А Тамарка-то! – галдели Катя с Милкой. – Красавица какая – вся в маму. И платье у нашей Тамарки необыкновенное, и глазки смышленные. Ой, какие глазищи! Всех кавалеров с ума сведет! Танечка, все будет хорошо, ты права, главное, чтобы Николай Васильевич скорее вернулся.

Барышни галдели, дом наполнился суетой. Оля с Марусей только переглядывались. Катя и Милка... Совсем маленькие еще девочки. Радуются приезду сестры, маленькой Тамарке, тормошат ее, как куклу. Нет губчека, нет революции... Понимают только, что война, и Николай Васильевич оперирует раненых. Катя бросилась помогать Лизе, та делала оладьи из остатков белой муки, еще осенью чудом добытой на базаре. «У нас мука еще дореволюционная, – радовалась Катя, – и варенье с прошлого лета осталось! Помнишь, Милуш, как мы варенье прошлым летом с тетушками варили? Вишневое все же засахарилось, говорила я тебе, надо было воды добавить!»

Оля расспрашивала Таню о Харькове, о положении на фронтах. Маруся, по обыкновению, помалкивала. Трудно было сказать, о чем она думает, в ней все больше проступала та отстраненность, которая ясно видна была, пожалуй, лишь Оле. Катя и Милка просто любили сестру, понимали ее душой, но что это было за понимание, они не знали, да и не задумывались. Таня скупно рассказывала, как она с Тамаркой добиралась из Харькова в теплушках, как устроилась в Кирсанове. Оля уговаривала сестру пожить в Тамбове – вместе все-таки легче. Спрашивала совета, что делать с Милкой. Таня тоже беспокоилась за младших девочек, повторяла, что к Милке надо приглашать учителей на дом – по крайней мере, по русскому и французскому языку. Оля твердила, что нужен аттестат, а где его взять? Но и трудовая школа – не выход. Младшие сестры тем временем возились с Тамаркой, а Лиза убирала со стола. За окнами стоял пыльный конец апреля.

В городе становилось голодно: магазины национализировали один за другим, прежние хозяева уезжали или бесследно исчезали. Ничего не решив в отношении учебы и аттестата, Таня с Олей соглашались, что надо скорее отправлять девочек в имение. Все лучше, чем в городе. Нет беспорядков, еды больше, природа вокруг, да и тетушкам веселее.

В имении, как показалось всем барышням, мало что изменилось. Пospели ягоды, снова надо было думать о варенье. Правда, как достать сахар, никто не знал. Тетушки пребывали в растерянности: две трети имения уже раздали крестьянам, нарезав на наделы. Некому было косить, дворовые, ухаживавшие за скотиной, разбежались, кто-то подался в другие города,

кто-то поднимал свое хозяйство на бывшей барской земле. По старой памяти, из уважения к тетушкам, бывшие дворовые приносили в имение то яйца, то соленые огурцы. Молоко носили, как и прежде, правда, не каждый день. Елизавета Павловна по-прежнему ежедневно занималась с Милкой французским, и все по-прежнему на закате ходили купаться на Цну.

– Жаль, что нет братьев Сурских. Елизавета Павловна, вы не знаете, куда они подались?

– Уехали осенью за границу. С родителями.

– За границу? Куда?

– Не знаю, Милуша, собирались в Париж, вот доехали ли? В их имении теперь то ли реввоенсовет, то ли еще что-то. Какое странное слово «реввоенсовет», правда, Маруся? В имении Сурских революционно-военный совет. О чем они советуются? Была германская война, теперь другая, гражданская... Какое странное выражение – «гражданская война»...

– Какие это граждане, это же бандиты, Елизавета Павловна, – не вытерпела Оля.

– Как твой Ермолин-то уцелел? – тут же подхватила Дарья Павловна. – Ведь белогвардейский офицер...!

– Ах, Даша, помолчи, сглазишь, не дай бог, – подала голос сидевшая у окна и как обычно вязавшая что-то крючком – салфетку или воротник – Марья Павловна. – Тем более при девочках. Их дело учиться.

– Чему учиться, Марья Павловна? – тут же вскинулась Оля. – В Тамбове все закрыли, и гимназии, и музыкальное училище.

– А как Стариков поживает? – Марья Павловна сменила тему.

– Соломон Маркович – необыкновенный человек! Учит детей несмотря ни на что, дает им уроки дома, сам ходит по ученикам. Может, еще все наладится? Не теряю надежды.

– Наладится, как же иначе, – тетушки пытались менять направление разговора, но он тек по проложенному руслу, и сворачивать с него не желал. – У нас все-таки не жгут имения, как в Саратовской губернии. Но как мы будем сводить концы с концами? Деньги все пропали, имение разодрали на клочки, крестьяне теперь сами по себе. Когда последнее продадим или обменяем, что будет?

– Мы будем работать, – вмешалась Катя. – Может, Владимир Иванович как-нибудь устроит нас на завод, Оля? В крайнем случае, можно найти работу и в новых конторах...

– Ни за что! – отрезала Оля. – Вам там не место, да вас и не возьмут, что вы умеете делать? А бумаги подшивать и переключивать и так охотников полно. Да и не нужно вам эти бумаги ни читать, ни даже трогать.

– Ах, Оля! Только что меня осадила, что я барышням мрачными мыслями голову забиваю, а сама туда же. Девочки, что пустой чай, на ночь глядя, гонять. Пойдемте, лучше сыграете нам что-нибудь.

В отсутствие Оли разговоры о революции, войне не вспыхивали, Маруся занималась с сестрами, Катя и Милка все свободное от занятий время научились проводить на огороде. Вместе с Дуней, прислужгой тетушек, ходили в лес по грибы. Надо было изловчиться сделать хоть какие-то припасы на зиму. И для тетушек, и с собой в город забрать. Елизавета Павловна все чаще заводила разговор, как трудно сестрам Оголиным будет пережить зиму: мельника, снабжавшего их мукой, забрало губчека, ничего не посеяно, работать на оставленном теткам новой властью клочке поля весной было некому. Сбережения сгорели в революцию. Оле изредко удавалось в городе продать что-то из тетушкиных украшений, но продавать было страшно. Если попадет в губчека, могут расстрелять как спекулянтку, а у тетушек отберут и остальное. Костя с Украины на лето не приехал, его не отпустили с завода: военное время. Письма от него приходили редко, что-то, вероятно, не доходило вовсе, судя по вопросам, на которые сестры уже ему не раз отвечали. Что делать и как жить дальше, никто не знал.

В город уехали только в октябре. Катя и Милка со слезами целовались с тетушками, Маруся обняла поочередно каждую из них, не зная, увидит ли она их еще раз.

Зимой пришел голод. Хлеб давали по карточкам, Лиза, Катя и Милка имели паек иждивенцев, хоть и непонятно, чьих, Маруся с Шуркой Стариковой устроилась преподавать фортепьяно и вести хоровые занятия в «трудовом университете», открытом в бывшей мужской гимназии. Деньги теряли цену с каждым днем, картошку и хлеб на них уже никто не продавал, только на обмен. Катя с Милкой помогали Лизе готовить оладьи из картофельной шелухи, зная лишь, что картошки нет из-за продразверстки, но не понимая, что это такое. Седьмого декабря восемнадцатого года отмечали Катино семнадцатилетие: чудом добытые три пригоршни муки смешали с отрубями и испекли пирог с ревенем.

В начале девятнадцатого вернулся Чурбаков. Из армии его не отпустили, но перевели почти в Кирсанов, сделав начальником Карай-Салтыковской больницы, ставшей госпиталем Красной армии. Его семье был положен продовольственный аттестат, дом Тани – по тем меркам – был полной чашей. Она пыталась выкраивать и отправлять с оказией сестрам, голодавшим в Тамбове, немного масла, керосина, мыла, иногда картошки.

Ермолин устроился работать в какую-то контору из новых, но проку от его работы не было. Заядлый картежник, он больше всего любил ездить в гости к Чурбаковым в Кирсанов, проводить время в изысканном обществе, собиравшемся в Танином доме. Страсть Ермолина к картам была болезненна, он неизменно проигрывался в пух и прах, зато не задумывался о том, чем занята жена во время его отлучек. А та проводила все время с Владимиром Ивановичем. Как Оля объясняла мужу отношения с другом-инженером, – об этом в семье говорить было не принято. Но Владимир Иванович, получавший усиленный паек на своем заводе, по всей вероятности, и был главным кормильцем в Олиной семье.

...Оля несла сестрам дурно пахнущую копченую корюшку, полученную накануне на заводе Владимиром Ивановичем, несколько луковиц и картофелин. Она шла по городу, плохо узнавая его. Улицы поменяли названия, швейные, обувные, ювелирные магазины давно исчезли, продовольственные стояли частью заколоченными, частью разграбленными, в тех, что сохранились, новая власть раздавала пайки. Из большевистских газет Оля знала, что где-то на севере, кажется, в Архангельске... или в Мурманске? ... на власть большевиков наступала Антанта. Она надеялась... Так не может продолжаться долго, кто-то придет освободить народ от черни, голода, от окончательного уничтожения прежнего мира. Его границы уже сузились до старого маминого сервиза в доме на Дубовой, папиного кресла красного дерева и кипы нот, не проданных за картошку лишь потому, что их никто не брал.

Оля пересекла Носовскую улицу. Сколько она себя помнила, Носовская пестрела лавками, магазинами... «Хлеб», «Рыба», «Аптека», даже «Юный техник». В здании Можарова в гостинице «Славянская», где до революции – всего два года назад! – собирались купцы и промышленники со всей губернии, играл румынский оркестр. Как же они веселились там с Ермолиным летом четырнадцатого года! Год назад гостиница исчезла, особняк с шестиколонным греческим портиком на высоком цоколе стоял теперь с окнами, забитыми досками...

В конце улицы возбужденная толпа опять что-то громила. Что еще в этом городе можно грабить? Все, что представляло какую-то ценность для оголодавшего, озверевшего люда, выползшего неизвестно откуда – Оля никогда не представляла, что в ее городе столько той самой черни, которая до революции выглядела нормальными людьми, что-то угрюмо, но мирно паявших и клепающих в мастерских на окраине, – все было давно разграблено.

Громили книжный магазин, Оля пережидала за углом. Мужики в рваных ушанках вытаскивали из магазина полки орехового дерева, прилавки. Грабеж, судя по всему, шел к концу, наконец на улице воцарилась полная тишина. Оля не могла прийти в себя от страха. Осторожно подойдя к разгромленной лавке, заглянула внутрь...

– Маруся, девочки, смотрите, что я принесла, – она без сил ввалилась в дом с непокрытой головой.

– Олечка, почему ты в мороз без платка? Что ты принесла? Еду?

– Еду тоже, вот рыбу возьмите, а тут, смотрите! – Оля втащила в дверь большой узел и без сил прислонилась к притолоке.

– Это твой платок? Ты его по улице волокла? Что в нем? – галдели сестры.

Оля развязала узел.

– Собрание сочинение Чарской. Удача необыкновенная, правда? Книжный на Носовской погромили. Темно было. Может, завтра с утра сходите, при свете что-то еще хорошее найдете.

... Летом, с трудом найдя подводу, сестры переехали в имение. Дарья Павловна за зиму слегла, Елизавета Павловна и Марья Павловна еще держались. Как тетушки пережили зиму, было непонятно. Барышни привезли с собой остатки утвари, украшений, меняли по крестьянским хозяйствам накидки и воротники, связанные Лизонькой, на картошку, хлеб. Искали в лесу грибы, собирали изрядно одичавшую вишню, смородину, малину, крыжовник, не представляя, как сберечь добро при неимении сахара. Дарью Павловну мучили приступы сердца, она отекала, распухла, с трудом поднималась с постели. Дом стоял неприбранный, жалкий. Зимой у тетушек не было дров, они жгли в печке сначала дворовую утварь, потом кресла. Елизавета Павловна рассказывала, как наострилась топориком колоть стулья на щепочки, потому что печка давно забилась, разжигать огонь в ней становилось к весне уже трудно, дым шел в комнату, от чего Дарья Павловна задыхалась еще больше.

Пианино за год расстроилось, но настройщики остались в прежней жизни. Катя и Милка привезли с собой скрипку и виолончель, которые, кроме них, никому были не нужны и обменять на еду их было невозможно. По вечерам по-прежнему играли сонаты Бетховена, струнные квартеты Гайдна, ноктюрны Шопена... Распад мира вокруг не тронул только инструменты и ноты.

Приехал Костя, которого отпустили с завода на две недели. Вид голодающих сестер потряс его. Сам он на Украине не голодал, но твердо намеревался переехать в Москву, забрав туда и сестер. По его словам, в Москве и голод был не столь сильным, и магазины работали, и даже кинематограф... Шурка Старикова еще зимой тоже уговаривала Марусю решиться на переезд, повторяя, что в Москве работают и музыкальные училища, и консерватория. Представить, что где-то проходят концерты, было трудно...

Решение пришло неожиданно: в августе в город вошел белоказачий корпус Мамонтова.

– Костя... – в комнату, где заседал семейный совет, опираясь на палку, вошла Дарья Павловна.

– Дарья Павловна, зачем вы встали, вам лежать надо, – воскликнула Катя.

– Костя, – повторила за сестрой, с трудом усаживавшейся в кресло, Елизавета Павловна, – барышень надо вывезти в Москву.

– Знаю, – ответил тот.

– Мы не оставим вас тут одних... – воскликнула Милка.

– Мы из своего имения никуда не тронемся. Тут наша жизнь, – Елизавета Павловна посмотрела на Костю, а тот отвел глаза.

В комнате на мгновение повисла тишина. Лиза поднялась со стула, подошла к окну, обхватив руками плечи.

– Нет, определенно, не оставим! – вслед за Милкой воскликнула Катя. Тут Лиза отвернулась от окна, обвела девочек глазами:

– Девочки, вы должны ехать. С тетушками останусь я.

– Как? Нет, ни за что, мы без тебя... – загалдели наперебой Катя с Милкой.

– Вы уже взрослые, – задумчиво произнесла Лиза. – Вам давно пора самим справляться, без меня.

– При чем тут справляться... мы тебя не оставим тут... Нельзя же так, вдруг, с кондачка...!

– Лиза, ты должна ехать. Мы прекрасно справимся сами... – Дарья Павловна закашлялась... – мы... сами... а... ты должна...

– Дорогие мои, я все уже обдумала. Если вы меня тут не оставите, уеду в Тамбов, буду присматривать за домом и приезжать к вам. В Москву я не поеду. – Лиза посмотрела на Костю, сидевшего, уткнувшись взглядом в пол.

– Девочки без тебя... не смогут... – Дарья Павловна пыталась совладать с душившим ее кашлем.

– Они Дуню возьмут. Вам от нее никакого проку, – заявила Лиза, и в комнате снова наступила тишина. Лиза высказала давно обдуманное.

Молчание прервала Оля. Она долго объясняла, почему Ермолины никуда не поедут: как-нибудь прокормятся, а может, и перемены начнутся. Костя кричал на сестру, что перемен ждать неоткуда, что после казаков придут еще какие-то банды. Оля сердилась, горячилась, как всегда, доказывала, что белоказачий корпус – это не банды, но сама не верила своим словам, потому что погромы и разбой, по слухам, только усиливались. Она цеплялась за надежду, что найдется сила, которая прогонит Советы, губчека, ненавистную ей чернь. Зрелище разгромленного книжного магазина, книги, не тронутые чернью за ненужностью, валявшиеся на полу, раздавленные сапогами и вонючими валенками, стояло у нее перед глазами. Оля отказывалась верить, что эта голодная, звериная жизнь может продолжаться долго. В Москву ехать категорически отказывалась – в столицах власть большевиков падет последней. Но Костя, собственно, и не звал старшую сестру с ее мужьями в Москву, ясно было, что он с трудом представляет себе, как сумеет устроить в столице трех младших.

Часть 2

Зеркальный вестибюль

За захлопнувшейся дверью

Вестибюль был просторным и роскошным, с гранитным полом квадратиками. По обе стороны от входа красовались двухметровые арочные зеркала, обрамленные лепными карнизами. Зеркала отражались друг в друге, вестибюль, а вместе с ним и барышни, глядевшие в них, а вместе с ними и новый мир, и их новая жизнь превращались в прекрасную бесконечность, где множились отражения, полные тайн, историй, образов. Историй необыкновенных людей, живших в этом доходном доме, построенном как раз перед германской войной.

Приехав с братом и Дуней, прислужгой тетюшек Оголиных, на извозчике с Павелецкого вокзала, сестры разглядывали вестибюль дома восемь в Большом Ржевском переулке, пока извозчик и Дуня заносили в дом вещи. Нельзя сказать, что барышни изумились или оробели. Дом как дом, большой, конечно, в Тамбове не было семиэтажных домов, но именно таким и должно быть их новое жилище. За дверью вестибюля осталась поразившая своими размерами, обилием столь же огромных домов замощенная Москва тысяча девятьсот двадцатого года. Остались горожане, бежавшие по промерзлым, не чищенным от снега улицам, кто в рваных ушанках и бушлатах, кто в ватниках, как тамбовская чернь, кто в приталенных пальто и тонких шнурованных ботинках и шляпках. Осталось широкое Садовое кольцо с заснеженными дубами, магазины – в Москве отнюдь далеко не все заколоченные, – с вывесками, сулившими еду, керосин, спички и даже мыло. Осталась улица, которую Костя называл «Поварской», сказав, что именно тут жила Наташа Ростова, но дом ее он показать не смог: все дома выглядели одинаково грязно-закопченными. Все это осталось за захлопнувшейся дверью, впустившей сестер в зеркальный вестибюль.

В вестибюле царил мир иной. Пахло чем-то свежим и пыльным одновременно, слева широкая лестница с мраморными, совсем чуть-чуть выщербленными ступеньками, вела вверх. Из-под лестницы снизу, по правую сторону вестибюля, появился мужчина в ватнике, представившийся барышням «смотрителем дома». Он распахнул дверь лифта с привычной для сестер учтивостью. Лифт был просторный, тоже с зеркалом и со скамьей, обитой красным бархатом.

– Раньше и ковры такого же цвета на лестнице были, и бронзовые пруты с бомбошками. Пруты-то, вон, остались, да ковры износились. А новые разве теперь найдешь! Так и живем без ковров. Разруха... Вы, я слышал, тамбовские барышни будете? Из дворянок? Милости просим.

– Костя, на каком этаже наша квартира?

– На шестом.

Сестры притихли. Лифт остановился и, как только они вышли, вновь поехал вниз, за «смотрителем», вещами и Дуней, оставленной для присмотра. Катя со скрипкой в руке, Милка с виолончелью, которую она не выпускала из рук всю ночь в поезде, где они сидели, как выражалась Маруся, «на торчке» в переполненном вагоне, все три с ридикюлями, остановились на лестничной площадке.

– Какие потолки высокие, – смогла лишь вымолвить Катя. – В Тамбове такие только в присутствиях были и в Губернском собрании.

Костя нажал на кнопку звонка. Минут через пять за дверью послышались шаги и женский голос: «Вы к кому?»

– У меня ордер на три комнаты, – ответил Костя.

Послышались звуки открывавшихся замков, в дверь просунулась голова женщины средних лет с курчавыми темными волосами, характерными черными глазами и сероватым одутловатым лицом.

– Вы кто? – спросила она подозрительно и строго.

– Мы – Кушенские. Мария, Екатерина и Людмила, – ответил за сестер Костя.

– А почему звоните один раз? – спросила женщина.

– А сколько надо?

– Смотря к кому вы пришли. К Моравовым один звонок, к нам два.

– Мы к себе пришли, у нас ордер на три комнаты в этой квартире, – повторил Костя.

– Вы жить тут собрались? Вы Кушенские? – все еще обороняя дверь, спросила женщина. – Значит, у вас будет три звонка. Бегать вам открывать дверь тут некому. Сразу договоримся: Кушенским – три звонка.

– Впустите нас в квартиру, пожалуйста, – негромко, своим особенным голосом произнесла Маруся.

– Да ради бога! Только ордера предъявите, – женщина отступила от двери, сестры и Костя вошли в квартиру.

Костя показывал женщине бумаги, Катя и Милка озирались. Большая прихожая с паркетными полами, свежими, не замызганными. «Точно, как в Губернском собрании», – прошептала Милка. Потолки с лепными карнизами, паркет елочками, справа от входа – белая дверь в узорчатых филенках, напротив – вторая, двустворчатая с матовыми стеклами, влево убежал коридор. Барышни очнулись от голоса брата:

– ...а с виолончелью – это младшая, Людмила, или Милочка. А меня зовут Константин Степанович.

– Дарья Соломоновна, – представилась женщина.

Сестры последовали за женщиной по коридору, не столько длинному, сколько узкому. Показав на дверь по правую руку – «тут Дина живет», – Дарья Соломоновна остановилась перед следующей:

– Ваша первая комната. Пойдемте, покажу две остальные, а дальше сами смотрите, мне обед-таки надо готовить, – она свернула налево и повела сестер дальше, тыкая пальцами на двери по обе стороны коридора.

– Туалет, коммунальный, это кухня... Тут темная комната, без окна... Дальше Триценки живут, а вот две ваши комнаты. И как это вам сразу три комнаты дали? Это за какие заслуги? Мы вчетвером в одной живем, а вам троим сразу три! Вы где-нибудь слышали, чтобы на одного человека давали целую комнату? Я никогда не слышала. А говорят, все теперь равны.

Одна комната – та, первая, на изломе коридора, была среднего размера, с окном, выходившим на Большой Ржевский. Вторая – в конце коридора, – маленькая, выглядела сумрачно, окна смотрели на стену соседнего дома и на задний двор, куда солнце, судя по всему, заглядывало редко. Зато третья комната была роскошной: метров двадцать, балкон с лепниной и видом на Малую Молчановку и на желтый двухэтажный особняк. Комнату заливало зимнее солнце. «Какая красивая», – выдохнула Милка, все прижимая к груди виолончель...

В «красивой комнате» поселили Марусю с Катей, в первой, на изломе коридора – Милку. Темноватую и сыроватую комнату решили придержать для Шурки, которая должна была приехать со дня на день. Костя положил глаз на темную комнату без окна, заявив, что «Дуню пока поселим сюда, дальше я разберусь». Как он собирался разобраться с комнатой, сестры не понимали, да и не задумывались. Они не задумывались даже о том, каким образом брат выбил ордера на жилье для них самих. Гораздо больше их занимало то, что наконец они увидят Костину жену.

Брат опять всех поразил, и в разгар войны, гетманщины, прихода то белого корпуса, то большевиков, нашел себе на Украине жену! Мария, которую муж звал Муся, дородная, кровь с

молоком хохлушка непонятного сословия, въехала в Москву женой столичного инженера Константина Степановича Кушенского, уже имевшего имя в кругах химиков, заслуги перед властью и немалые связи. Как ценный кадр Костя получил две комнаты в коммунальной квартире на Покровке, где Муся тут же поставила себя хозяйкой. За словом в карман она не лезла, могла и соседскую кастрюлю в окно выкинуть, если та окажется на двух конфорках, раз и навсегда закрепленными за нею. Появляясь изредка в квартире дома с зеркальным вестибюлем, Муся так же твердо давала понять Дарье Соломоновне, что в случае чего за сестер мужа тоже будет кому заступиться.

За пару недель сестры освоились. Как выяснилось, дверь при входе в квартиру вела в закуток, где прятались две комнаты семьи художника, Александра Викторовича Моравова. Его имя было известно и в Тамбове: продолжатель традиции передвижников. До революции ему с женой Еленой Николаевной, красавицей польских кровей, и с сыном, принадлежала вся квартира. В восемнадцатом их уплотнили, оставив две комнаты. Еще две комнаты были заняты въехавшими в процессе уплотнения: некой Александрой Маркеловной с мужем и семьей Трищенко, или, как выражалась Дарья Соломоновна, «Трищенок». Глава семьи Трищенко служил в какой-то советской конторе, был толст, пузат, ходил по квартире в майке, его жена – невыразительная женщина – работала тоже в конторе, а годовалая дочь оставалась днем под присмотром полуслепой бабушки. Единственная дверь на правой стене длинного коридора вела в огромную главную комнату квартиры, служившей при Моравовых, видимо, залом, а теперь заселенную семейством Хесиных, состоявшим из Дарьи Соломоновны, ее мужа Анатолия Марковича и их детей: восемнадцатилетней красавицы Ревекки – или Ривы – и пятнадцатилетнего Соломона. Третья дочь Хесиных, Маня, жила отдельно, где-то в Марьиной Роще.

Все въехавшие в процессе уплотнения были людьми с характером и твердыми намерениями отстаивать каждую пядь доставшейся им коммунальной территории. В квартире царил семейство Хесиных, вызывавшее у Моравовых сдержанную неприязнь, а у Трищенко – трепет. Хесины приехали из Смоленска, который до войны входил в черту оседлости, держали они там до революции гостиницу на окраине города. Дарья Соломоновна крепко поставила дело, успевая быть и кухаркой, и горничной, погоняя мужа, держа на подхвате Маню, но всячески оберегая от работы любимицу Риву. В Москве Анатолий Маркович получил место в тресте столовых, Дарья Соломоновна сидела дома, опекая Риву, которая посещала какое-то училище, и Соломона, готовившегося поступать в химико-технологический институт.

В Москве был почти такой же голод, как и в Тамбове. Дарья Соломоновна изредка жарила на кухне вонючую рыбу, добытую мужем в недрах общепита, а в основном обитатели роскошной квартиры на Ржевском сидели на хлебе и картошке, не брезговали оладьями из картофельной шелухи на постном масле, редко разживались пшеном. Дарья Соломоновна научила Катю и Милку варить «кулеш» – суп из пшена на воде, куда следовало добавлять, – если есть, – картошку и постное масло. Дарья Соломоновна все приговаривала, что если его «забелить молоком, а лучше сметаной, то пальчики оближешь», но молоко и сметана, похоже, тоже остались в прежней жизни.

Сохраняя сложный нейтралитет с семейством Хесиных, сестры тут же сдружились с Моравовыми. Те жили в страхе ожидания трищенко или еще более красочных персонажей, подобных тем, что встречались теперь на улицах, в конторах, в магазинах, составляя, собственно, новую популяцию. После обучения в Академии художеств, жизни в Италии, Франции, дружбы с поздними французскими импрессионистами, после успехов Александра Викторовича по продвижению нового, реалистичного, но одновременно дышащего светом и воздухом искусства в России... После признания и даже наград, полученных им от советской власти за потребную новой эпохе, при этом весьма недурную картину «В волостном загсе», которую Союз художников намеревался поместить в Третьяковскую галерею! После всего этого оказаться заточенными в двух комнатах за дверью, ведущей в остальную часть их собственной,

купленной в 1913 году квартиры, которую заселяют особи, подобные трищенкам! Это плохо укладывалось в голове Моравовых, и к вселению трех тамбовских дворянок, образованных и деликатных, они отнеслись, как к счастью.

Костя, обустроив сестер, с головой ушел в работу в московском институте технологий производства цветных и благородных металлов, с причудливым названием Гинцветмет. Входил он и в разные комиссии при Наркомате тяжелой промышленности, имел несколько патентов на производство каких-то сплавов, дружил с профессурой и академиками института, знал самого Орджоникидзе. Несмотря на занятость, частенько забегал проведать сестренку, горевал, что те живут в нищете, голодают. Украдкой от жены Муси подбрасывал им крохи от своего наркомовского пайка, и непременно был уличен в этом Мусей, ворчавшей, что сестры сели им на шею, а они сами недоедают... Барышни на Мусю не обижались. Маруся относилась к жене брата со свойственной ей сдержанностью, а Катя и Милка – две души нараспашку, любящие всех и вся, – приняли Мусю безоговорочно, не задумываясь ни о ее характере, ни о беспородности хохлушки из украинского местечка.

Катя и Милка относились к миру, как к данности, созданной для радости. Худенькая Катя и полненькая Милка, обе маленького роста, в отличие от трех высоких старших сестер, излучали безмятежное согласие со всеми. Безоговорочно приняли верховенство Дарьи Соломоновны на кухне, не сплетничали о сидевшей на шее у родителей красотке Риве. Вспоминали Лизоньку, вздыхали, перечитывая письма от Оли, но не погружались в раздумья и воспоминания, а больше заботились о хлебе насущном, о том, чтобы вовремя вымыть полы и не прогнеть Дарью Соломоновну.

Вскоре приехала Шурка Старикова, которую поселили в сыроватой угловой комнате. Они с Марусей устроились преподавателями по классу фортепьяно в государственное музыкальное училище, созданное еще в конце прошлого века усилиями пяти сестер Гнесиных и прославившееся на всю Россию. Руководили им теперь две младшие из сестер – Елена Фабиановна и Ольга Фабиановна Гнесины. Они мгновенно оценили дар и уровень подготовки Маруси и Шурки. Еще бы, школа Старикова, лучшего педагога России! Взяли они в училище студентками и Катю с Милкой, и даже выхлопотали им стипендию.

Маруся непонятным образом умудрилась приобрести кабинетный рояль, который грузчики, повернув «на попа» и чертыхаясь, полдня тащили на шестой этаж, а затем проносили боком по коридору. То, что на рояль пришлось потратить все имевшиеся у сестер деньги и даже занять что-то у Моравовых, сестер не смутило. Счастье от того, что Марусе удалось найти инструмент, было сильнее чувства голода, преследовавшего их в Москве не меньше, чем в Тамбове, и жизнь с каждым днем казалась им все прекраснее.

– Милуша, Катя, Маруся, невероятная удача! Достал вам отрез сатина, смотрите! – Костя прибежал с Покровки на Ржевский.

– Костя, в цветочек, какое чудо! Милка, смотри.

– Тут хватит на два платья, – Милка, помимо всего прочего, научилась у Лизоньки шитью. – Какое счастье, что мы привезли из Тамбова мамину швейную машинку!

– Да уж. Новый «Зингер» мы вряд ли смогли бы купить, да и не нашли бы.

– Положим, нашли бы, теперь же нэп, в коммерческих магазинах все найдется. Но купить, конечно, не смогли бы... Катя, тут только два платья выходит! Три – никак.

– Как, три не выходит? Что же делать?

– Катя, три никак не получится. Сама посмотри.

– Да... Значит, два. Тебе и Марусе.

– А тебе? Нет, так не годится, тебе платье нужнее, чем мне, ты только и делаешь, что по утрам подмышки штопаешь.

Маруся сидела с книгой на узеньком жестком, пузатом диване, читая книгу и не мешая сестрам обсуждать, кто может обойтись без платья.

– Катя, а если поперек раскроить?

– Как поперек? Коротко будет.

– Нам с тобой не коротко, мы маленькие. А Марусе придумаем какую-то оборку, или я крючком кружевную планку свяжу, мы ее по талии пустим.

– Правильно. Как я тебя люблю, Милка, ты всегда найдешь выход.

– Ну что, поделили платья? – Костя с усмешкой вошел в комнату, неся чайник. – Маруся, чай завари, что ты сидишь? Как у вас с деньгами?

– Ничего, Костя. Маруся двух новых учениц нашла. Мы почти расплатились с Еленой Николаевной за рояль. Пшено и картошка у нас пока есть, есть масло постное... Даже иногда молоко покупаем на Никитской в коммерческом: Маруся что-то кашлять стала.

– Маруся, ты чай, в конце концов, заваришь? – Костя вытащил из кармана пиджака маленький кулечек из хрустящей пергаментной бумаги. – Вот, с премии купил. Только Мусе не говорите.

– Печенье! Настоящее курабье! Костя, миленький... Давайте все срочно пить чай, – Катя радостно доставала с подоконника – буфета у сестер не было – чашки с блюдцами, позолоченные ложечки, тамбовское наследство. Маруся отправилась на кухню ставить чайник.

– Костя, – сообщила за чаем Милка. – Меня в оркестр берут, представляешь? В самой консерватории! Деньги не такие уж большие, но все же. А главное – там прекрасные музыканты.

– Деньги... – произнесла Катя. – Так хочется сыра... Помнишь, Милуша, наш базар? Непременно со следующей стипендии надо купить сыра. Костя, а правда, что скоро карточки отменят, и хлеб можно будет по государственной цене покупать?

– Правда. И совзнаки отменят. С Нового года введут червонцы.

– Червонцы? Как при царе? – Катя перевела взгляд на Милку. – Милка, ты мне не ответила. Помнишь, как мы на базар после гимназии ходили?

Катя задумалась... Какой был базар в Тамбове! От Тамбова у них остались только инструменты, швейная машинка... Нет, не только, вот, мамин сервиз на столе, ложечки позолоченные. Две чашки, правда, с трещинами, но разве в этом дело? В доме на Дубовой отец держал стопку червонцев в столе и выдавал им с Милкой монетки, отправляя их по утрам в классы. За эти монетки на базаре можно было купить столько всего... И сыра, и кеты, и орехов. Скоро опять будут червонцы. Они представлялись Кате прежними хрусткими продолговатыми купюрами с двуглавым орлом. Жаль, что не будет золотых монет с портретом царя с бородой, такой похожей на отцовскую. Вряд ли такие появятся... Но станет вдоволь молока, снова можно будет покупать кету, орехи. Все наладится! А Оля все предвещала катастрофу. Ну, у нее характер непростой, а скоро все станет по-прежнему, и даже Оля поймет, как ошибалась.

– На Тамбовщине крестьянское восстание только что было. Не только у нас, по многим областям прокатилось. Все, пора заканчивать с продрозверсткой, никто не хочет работать бесплатно, – Костя не замечал, что Катя не слушает его, погружившись в воспоминания о червонцах, орехах, об их тамбовской, исполненной стольких прелестей, жизни.

– Восстание? Костя, что ты говоришь? – воскликнула Милка. – А что Таня, Оля? Мы давно от них писем не получали.

– Они в порядке. Таня натерпелась, конечно страху, когда антоновские банды в Кирсанове и в Карай-Салтыкове шуровали. Но обошлось. Николая Васильевича не тронули.

– А Таня тебе пишет? – очнулась Катя от своих мечтаний. – А нам почему нет? Последнее письмо было месяца полтора назад.

– Чурбакову поставили личный телефон! Я им иногда звоню, когда в Наркомате по делам случается бывать.

– Телефон! – ахнула Катя. – Двадцать второй год на носу. Скоро Рождество. Как жаль, что теперь его не празднуют. Непременно приходи вместе с Мусей к нам на Новый год, слышишь!

Шурка будет играть, мы с Милкой тоже. Но Расскажи нам про Таню, что она? Как Тамарка, племянница наша? Наверное, совсем барышня, восемь лет уже.

– Таня стала совсем барыней, я это по голосу слышу. Чурбаков в больнице теперь главный хирург и хирург-гинеколог, светило. Таня весной собирается в Москву.

– Таня с ним приедет, Тамарку привезут? – Катя забыла свою минутную грусть, засветилась радостью. – Как им понравится наша квартира! Жаль, что они не надолго приедут. Таня могла бы с нами и пожить, правда, Милуша?

– А Чурбаков все такой же картежник? – у Милки, как и у Кати, был свой, особый ход мыслей. – Костя, ты не знаешь, в Кирсанове есть общество преферансистов для него? Нет, Катюша, Таня не захочет у нас пожить, не оставит она мужа одного надолго. Определенно не оставит...

– Определенно не оставит, – снова вздохнула Катя.

Если бы можно было сделать так, чтобы и Таня с Чурбаковым, и Оля... с мужем... с каким именно мужем, неважно... Если бы они все жили тут, в Москве, в доме. В комнате, скажем, Трищенко... Они бы радовались зеркальному вестибюлю, лифту со скамьей красного бархата. У всех было бы спокойно на душе.

– Маруся... Ты не будешь сердиться? – Катя умоляюще посмотрела на сестру. – Ты не любишь несерьезную музыку, я знаю. Можно мы с Милушей один только разик на твоём рояле сыграем романс? Костя, давай, споем все вместе... Маруся, не говори, пожалуйста, что это пошло... Помните, как мы в имении у реки пели?

Ночь светла, над рекой тихо светит луна,
И блестит серебром голубая волна...
...К тебе грезой лечу, твоё имя шепчу,
Милый друг, нежный друг, о тебе я грущу...

Браки совершаются на небесах

– Костя, меня беспокоит, что Милка возвращается после концертов в консерватории домой поздно вечером. Хотя от Никитской и недалеко, но все же ночью... одной, да еще с виолончелью, – Маруся давно хотела поговорить со старшим братом о Милке, но тот не успел сказать своего веского слова.

– Меня провожают, – неожиданно бросила Милка.

– Правда? И кто же это? – тут же поинтересовалась Катя.

– Наш контрабасист из оркестра. Моисей.

– Он влюблен в тебя?

– Катя, что за вопрос? – засмеялся Костя, а Маруся подумала, как права была Оля, говорившая, что у Кушенских это в крови... Непременно все обсуждать, иметь обо всем свое твердое мнение.

– Костя, я же должна знать, кто Милку по вечерам провожает!

– Моисей – интеллигентный и порядочный молодой человек.

– Как Соломон?

– Катя, какие странные у тебя ассоциации! При чем тут Соломон?

– По твоему рассказу, они похожи. – Катя вновь мечтательно задумалась. Милку провожает Моисей, контрабасист, ей хотелось представить его. – Определенно, они должны быть похожи с Соломоном, два молодых интеллигентных человека из еврейских семей.

– Что такое, по-твоему, интеллигент? Родители Соломона в Смоленске гостиницу держали. А его мать? Малообразованная, вздорная женщина.

– Костя, как ты можешь так судить! Дарья Соломоновна, конечно, с характером, ну и что? А Соломон безусловно интеллигентный. Ты же, наверное, его встречаешь в институте? По-моему, он очень к тебе тянется, и это прекрасно, правда, Милуша?

– Катя, а ты сама, часом, в Соломона не влюблена? – спросила Милка. – Он еще почти ребенок. Семнадцать лет только.

– Семнадцать, да. Ничего я не влюблена. Просто он очень хороший.

– А Моисей мне совсем не нравится, если тебе уж так необходимо это знать... Он вообще чудной! Все нормальные люди контрабасы в оркестре оставляют, а он свой домой таскает каждый вечер. Боится, что его из оркестровой ямы ночью украдут, что ли? Теперь, правда, стал оставлять, теперь он мою виолончель таскает. Идет за мной с виолончелью и все время что-то рассказывает, рассказывает. И никакой он не интеллигент. Как и Соломон, из какого-то местечка.

– Соломон не из местечка! Смоленск – большой и красивый город. Мне Соломон показывал фотографии в альбоме. Там дома не хуже, чем в Тамбове. И вообще, Смоленск даже больше Саратова...

– Катя?! Какие познания! Это тебе все Соломон рассказывал? – Милка бросила взгляд на Марусю, ища у сестры поддержки, но та, по своему обыкновению, помалкивала. – Ну, бог с ним, со Смоленском... А Моисей определенно из какого-то маленького местечка. И мне с ним совсем неинтересно. Провожает, ну и пусть себе провожает, если ему охота каждый вечер контрабас таскать за мной. И мою виолончель...

Моисей любил исторические романы, с удовольствием говорил о походах Суворова. Катя считала, что он хорош собой: среднего роста, худощавый молодой человек, с челкой гладких смоляных волос. Моисей всегда носил рубашки апаш и с трудом говорил по-русски: происходил он из огромной еврейской семьи, жившей действительно в безымянном местечке, то ли под Бердянском, то ли под Бердичевым. Его многочисленные дядя, братья – двоюродные и троюродные – после революции подались за границу, а Моисей – в Москву.

Милка же твердила, что терпеть его не может, и пеняла Кате за то, что та «приваживает его к дому». Когда вечером раздавались три звонка, она бежала прятаться. Лучше всего – в покоях у Елены Николаевны, там она была недосыгаема, но к ней неудобно бегать каждый вечер, и Милка пряталась, где попало. В ванной, в Катиной с Марусей комнате, в собственной комнате под столом, крича сестрам: «Меня нет дома! Скажите ему...»

Моисей не мог не слышать Милкины крики, вероятно, они даже расстраивали его, но он не подавал виду и не смущался... Вопреки всему, приходил каждый вечер, когда в консерватории не было концерта. Кате было неудобно перед Моисеем, она бежала ставить чайник. Моисей молча улыбался, неловко вытаскивая из кармана брюк кулечек либо с карамелью, либо с печеньем, которое он, как правило, тут же и просыпал на пол. Катя приносила чайник, доставала чашки, сидела с Моисеем, который развлекал ее разговорами, поджидая, когда Милке надоест прятаться и она выйдет к ним. Моисей мог сидеть весь вечер, улыбаясь и продолжая пить пустой чай, не притрагиваясь к принесенным сладостям. Когда Маруся выпроваживала его из их с Катей комнаты, он перемещался к Хесиным, вел разговоры с Соломоном, если тот был дома, а если его не было, то с его отцом, Анатолием Марковичем. Он высиживал Милку, как наседка высиживает яйцо.

Моисей и Милка поженились через год, и Моисей перебрался на Ржевский с книгами и контрабасом, который, несмотря на насмешки жены, все норовил прихватить с собой после концертов, так спокойнее. Сестры не задумались, хорошо ли, что их сестра, тамбовская дворянка, вышла замуж за еврея, и что она, также не задумываясь ни на минуту, прописала мужа в своей комнате. Ведь главное, что Моисей любил Милку, любил их всех, а Милка нашла в своем сердце способность наконец полюбить его. «А как его не полюбить? – повторяла Катя. –

Такой славный, такое доброе сердце, тебя обожает. И Костю полюбил, и Соломона, играет с ними в шахматы. И они его любят, правда, Милуша?»

По утрам, отправляясь в училище, Катя встречалась взглядом с зеркалами вестибюля, отражавшими бесконечное количество раз ее худенькую фигурку, скрипку, ее новый мир. В нем столько нового, необычайного. Моисей, Соломон, Елена Николаевна... В нем столько доброты, столько красоты, счастья...

Костя стал чаще бывать вечерами на Ржевском, болтая с Моисеем и Хесиными о политике. Сестры подтрунивали над ним, что тот ходит из-за Ривы, не дай бог, Муся узнает, будет гроза. Костя сердился, от чего сестры веселились еще больше, пеняя брату, что тот и на Шурку Старикову заглядывается... К Марусе по вечерам часто приходили ученики, Милка все свободное время проводила на кухне, перенимая у Дарьи Соломоновны кулинарные премудрости. Для Кати же не было большей радости, чем проводить время с Еленой Николаевной Моравовой. Та часто зазывала к себе в гости, в свой закуток за двойной резной дверью, именно Катю, считая Милку слишком простушкой, а Марусю – слишком себе на уме... А вот Катя... Катя – это просто ангел.

В отгороженном от остальной квартиры мире Катя перебирала содержимое огромной шкатулки с украшениями Елены Николаевны. Она знала его уже на память, но от этого рассматривать сокровища не становилось менее интересно. В хозяйке сокровищ Кате нравилось все: тонкие, слегка тронутые сединой волосы, собранные в пышный мягкий пучок с выбивающимися прядями, темные платья с кружевными воротниками, подколотыми у горла брошью. Елена Николаевна рассказывала о жизни Моравовых в Италии, в Париже, дарила Кате безделушки. Портрет мамы Елены Николаевны, польской графини, привел Катю в восторг: на фарфоровом овале, обтянутом пурпурным бархатом, темноволосая женщина с точеными чертами лица в розовом платье с декольте позировала, держа на руке голубя.

Дарья Соломоновна, которой Катя прибежала показать миниатюру на кухню, только хмыкнула: «Барские подачи? Зачем это вам, Катя, за это же никаких денег никогда не дадут?»

– Дарья Соломоновна, это прекрасная работа, прошлого века!

– Ну-ну, – сказала Дарья Соломоновна и пошла прочь из кухни, унося шипящую сковородку с тушеным фаршированным карпом.

– Маруся, смотри, это мама Елены Николаевны. Необычайно тонкая работа. Даже Дарье Соломоновне понравилось.

В прихожей прозвучало три звонка. Катя бросилась открывать дверь. В квартиру вбежала Милка.

– Катя, пойдем скорей ко мне. Маруся дома? Маруся, иди скорее!

Сестры вбежали в Милкину комнату. Тут Маруся спохватилась:

– Милка, а где твоя шуба?

– Шуба? Она уже такая старая. Посмотрите! – Милка разжала ладонь. – Смотрите, какие огромные бриллианты. И такой чистой воды.

– Откуда они у тебя? – в ужасе спросила Маруся.

– Вхожу в вестибюль, там стоит интеллигентный человек и говорит: «У моей жены украли шубу. Купить не могу, а она кашляет, ей без шубы никак нельзя. Хожу по квартирам, хочу ее бриллианты на шубу обменять. Хоть старую, как ваша. Убыток, конечно, а что сделаешь?»

– Ты поменяла свою шубу на эти стекляшки? – закричала Маруся.

– Почему стекляшки... – Милка не успела договорить, а Маруся, накинув платок, бросилась к выходу, вниз по лестнице.

– Что с ней? – спросила Милка. – Она, что, думает, что это не бриллианты? Катя, почему ты молчишь?

– Ох, Милуша... – только и могла вымолвить Катя.

Катя и Милка плакали, Маруся, вернувшись и сообщив, что мужика из вестибюля, конечно, и след простыл, ходила из угла в угол, выговаривая Милке. Пришел Моисей, втащив в квартиру свой контрабас. Он только вздохнул, услышав рассказ о шубе. «Ничего, Милуша, – приговаривал он, глядя по волосам рыдающую жену. – Ничего. Шуба – не самое главное в жизни. Главное, чтобы у тебя не пропала вера в людей. Хороших людей гораздо больше, чем плохих. На дворе уже почти весна, к зиме подкопим денег, сошьем тебе пальто. Не плачь».

Прошел двадцать третий год, пробежал двадцать четвертый. Костю перевели из Москвы обратно на Украину. Теперь он работал на Горловском коксохимзаводе в Донецкой области. Сестры не расстроились от разлуки с братом, они радовались, что того отправляют на все более ответственные участки. Значит, ценят его на работе! Даже Муся, хотя и ворчала, как ей не хочется уезжать из Москвы, не считала Донецкую область провинцией. Сестры – тем более. Разве их Тамбов был провинцией? Там были театры, одна из лучших в стране музыкальных школ. А Саратов, где учился Чурбаков? Огромный город, где собирались поволжские промышленники, купечество, университет там отменный. И в Тамбове, и в Саратове бурлила культурная, духовная жизнь. Конечно, в революцию многое поменялось. Но революция давно прошла, разруха – тоже, скоро, совсем скоро, во всей стране все станет опять хорошо, уже все расцветает. Хоть Кирсанов взять. Город небольшой, но и в нем интересная жизнь! Прекрасное общество, кстати, немало художников, как пишет Таня, не говоря уже о сообществе талантливых врачей. А брат Николаша замечательно живет в Чите, недавно приезжал в Москву, уже с женой.

При мысли о Николаше Катя всегда грустила. Брат отдалился от них, жену его они и видели-то пару раз. Вспоминая о нем, Катя тут же вспоминала и об Оле, которая тоже жила своей жизнью, переписываясь лишь с Марусей. Катя не думала о том, что революция, их бегство от голода из Тамбова в Москву раскололи жизнь семейства Кушенских на «до» и «после», она не думала о том, что у дерева много ветвей, какие-то отсыхают, опадают, и их рано или поздно забывают. Ее мир, огороженный зеркальным вестибюлем, провожавшим ее в училище, был прекрасен, полон любимых персонажей, привычных и родных, как сестры, новых, но тоже уже дорогих, как Моисей, Соломон, Елена Николаевна. И Костя вернется рано или поздно из Донецка, а там он непременно найдет прекрасное общество, это же такой интересный город! Какая жалость, что он забросил скрипку...

Катя очнулась от мыслей, услышав два звонка. Шагов Дарьи Соломоновны в коридоре не было слышно, она побежала к двери: Соломон пришел из института, усталый, голодный, а дверь никто не отперет. Соломон за годы жизни сестер в Москве, – на их глазах, надо же! – превратился из подростка в интересного юношу. Этим мартом справляли его двадцатилетие. Среднего роста, с носом горбинкой, темно-голубыми глазами слегка навывкате, с короткой курчавой шевелюрой... Кате он казался особенным, главное, необычайно умным, у него были такие точные суждения. И, кстати, неплохо играет на рояле. Жаль, что тоже забросил инструмент. Но один этюд Шопена у него получается просто отлично.

– Соломон, я знала, что это ты. Всегда узнаю твои звонки. Ты как-то по особенному звонишь.

– А что, мамы дома нет?

– Как у тебя в институте дела? Ты устал, наверное? Есть хочешь? Действительно, а где Дарья Соломоновна? – Катя шла за Соломоном по коридору. Тот, дойдя до своей комнаты, оглянулся: «Катя? Вы сегодня будете играть? К вам кто-нибудь собирается?»

– Разве что Шурка придет.

– Шурка? Позовите меня, когда будете чай пить.

«Ему Шурка нравится», – подумала Катя, входя в свою комнату. – Прекрасная была бы пара. Но она на восемь лет его старше. Хотя разве это имеет значение?». В дверь постучали: «Катя?»

– Удивительное дело, Катя, но мамы нет дома. Посмотри на кухне, она поесть мне что-то приготовила? Наверняка приготовила. Но я не знаю, где искать и как разогреть...

– Конечно, Соломончик, – Катя побежала на кухню. – Соломончик!

– Что?

– На вашей конфорке стоит что-то из моркови...

– «Что-то из моркови»! Это цимес.

– Да-да. А на столе, под полотенцем, сырники и еще... Еще курочка. Что тебе разогреть?

– Курочку и цимес.

– Я быстро. Тебе в комнату принести?

– Буду признателен. – Соломон удалился в свою комнату.

Катя возилась на кухне, когда внезапно появилась Дарья Соломоновна.

– Катя! Почему вы трогаете нашу еду? В чем дело?

– Дарья Соломоновна, я Соломону ужин разогреваю... Он пришел голодный из института, а вас дома нет...

– Это не ваше дело! Не трогайте ничего на нашем столе. Что я, по-вашему, своего собственного сына не способна накормить? Уйдите, я вам сказала. Бессовестная какая! Мать только за порог, а она уже тут как тут, крутится... Совсем стыд потеряли... И все гордятся, мы, мол, дворянки тамбовские... Постыдились бы. И Шурка, подружка ваша, ни стыда, ни совести. Старая жидовка, а все моему сыну глазки строит, и в коридоре его – своими глазами видела! – так и норовит бедром задеть. И кто нам послал вас на нашу голову. Жили как люди, пока вы сюда не въехали...

Дарья Соломоновна возмущалась, не замечая, что Кати уже нет на кухне. «Бедная Дарья Соломоновна, – думала Катя, сев с книжкой на диван в ожидании, когда придут Маруся с Милкой, – трудно ей понять, что ее Соломон уже не мальчик. Цепляется за сына из последних сил...»

Маруся в тот вечер рассказывала, что в училище сестер Гнесиных появился новый, невероятно талантливый исполнитель из Армении. Арам Хачатурян. Шурка вторила Марусе, говоря, что надо непременно пригласить его в гости. Соломон пришел как раз когда Милка накрывала чай. После чая Шурка уселась за рояль.

Катя не сводила с Соломона глаз, а тот смотрел на Шуркины пальцы, такие тонкие, порхающие по клавишам... Катя думала о том, с кем Соломон проводит вечера, он редко приходил домой так рано, как в тот день. Обычно ближе к одиннадцати, а то и за полночь. А Катя всегда прислушивалась, когда тренькнут два звонка: Соломончик пришел. Только после этого она засыпала.

К концу года Соломон заметил Катину любовь, такую самозабвенную и одновременно неприятную. «Катя, – сказал он ей однажды по дороге из кинематографа, куда он пригласил ее, и это стало для Кати счастьем, – мне кажется, мы должны пожениться».

До глубокой ночи Катя сидела с Милкой и Марусей в своей комнате. Она и Милка то плакали, то смеялись. Маруся пила чай: «Очень трудная семья у Соломона, Катя, ты подумала об этом? Ты старше его на пять лет, это тоже играет определенную роль...»

– Маруся, Катюша любит Соломона! Ты же согласишься, что именно это самое главное!

– Соломончик такой... деликатный. И добрый... Но с характером. Это ценно, когда у мужчины есть характер!

– Вот именно, с характером. Вся семья с характером.

– Непременно хочу венчаться...

– Как венчаться, он же еврей?

– Маруся, это так красиво: венчание, свечи, запах ладана... Стать мужем и женой перед алтарем, кольцами обменяться... Такой красивый обряд!

– Катя, это обряд перед Богом.

– Ах, Маруся... Сейчас, в революцию, все так поменялось... Соломон же не ходит в синагогу, верно? Я даже думаю, что если мы обвенчаемся, он прочнее войдет в нашу семью. Я и Милку все спрашивала, отчего они с Моисеем не обвенчались. Пока церкви совсем не закрыли, надо обязательно венчаться, это совсем другой коленкор. Не знаю, как тебя убедить, но многое будет по-другому. Наша церковь, на Поварской, мне тоже нравится, но, конечно, она ни в какое сравнение не идет с церковью на Никитском, ты согласна со мной? Венчаться в церкви, где венчался Пушкин... Милка, ты как думаешь?

– Если уж венчаться, то лучше на Никитском, чем на Воровского...

– Да, верно, все время по-прежнему называю улицу Воровского «Поварской». Ты права, лучше на Никитском.

Нетрудно представить, как отнеслась Дарья Соломоновна к намерению сына. «Соломончик, это же ни на что не похоже! Что тебе, еврейских девушек мало?» И Рива, бывшая, конечно, на стороне матери, и отец семейства, тишайший Анатолий Маркович, были втянуты в семейный совет, длившийся не день и не два.

– Тебе вообще рано жениться: только двадцать, институт надо закончить. Зачем хомут на шею раньше времени? – неуверенно поддерживал жену Анатолий Маркович.

– Она старше тебя на пять лет! Старуха!

– Рива, тебе самой двадцать шесть, ты же не старуха.

– Я на двадцатилетних мальчиков не заглядываюсь.

– А как вы собираетесь жить? У нее ничего нет. Стипендия одна. У тебя тоже, – Анатолий Маркович старался увести разговор от опасной темы возраста.

– Папа, я через год закончу институт. Буду инженером. Ты же не хочешь сказать, что инженер не в состоянии прокормить свою жену?

– Ты ее нам на шею посадить собрался? – восклицала Дарья Соломоновна.

Венчались Катя и Соломон в церкви, где венчался Пушкин. Неизвестно, как Соломон объяснил это родителям, но Катя доказывала сестрам, что это еще одно подтверждение его характера и его чувства к ней.

Катя заканчивала Гнесинский институт, иногда подрабатывала в оркестре вместе с Милкой и Моисеем. Муж оказался решительным противником того, чтобы его жена работала и вообще отвлекалась на что-либо помимо семьи. Катя без колебания бросила институт, хотя Маруся пришла в отчаяние от этого поступка, даже Моисей убеждал Соломона, что как бы дальше ни сложилась жизнь, диплом скрипачки Катюше всегда пригодится. Но Соломон был непреклонен, пенял жене на то, что ее сестры, видимо, не верят в его способность достойно обеспечить семью. Катя умоляла сестер и Соломончика, которого она тут же стала звать ласково «Слоник», не ссориться. «В семье должен быть мир, – убеждала она всех. – Это же самое главное!»

Шурке Стариковой пришлось съехать из квартиры на Большом Ржевском, а Маруся переехала в темноватую и сыроватую угловую комнату, куда едва-едва поместился ее рояль. В их с Катей прежней, угловой комнате с балконом поселились молодожены. Соломон прописался в ней, оформив в качестве «ответственного съемщика», естественно, себя как главу семьи. Это несколько примирило Дарью Соломоновну с браком сына, и она позволила отобрать у семьи Хесиных огромный буфет красного дерева. В нем не было изящества и легкости, присущих тамбовским вещам, но он был импозантен, сделан добротно и со вкусом: Дарья Соломоновна понимала толк в вещах. Нижнюю часть буфета покрывала резьба, верхняя, застекленная, – покоилась на витых точеных столбиках. Соломон перевез в их с Катей комнату и письменный стол с двумя резными тумбами на витых ножках и бронзовыми ручками выдвижных ящиков. «Всю мебель красного дерева отдала за Соломоном», – повторяла на кухне Дарья Соломоновна.

В просторной комнате осталась и полуторная кровать – приданое Кати, и серый вздыбленный холмиком жесткий диван, на котором она спала, пока делила комнату с Марусей.

Теперь они с Соломоном спали на бывшей Марусиной кровати, а диван стоял просто так. Это была необыкновенная роскошь.

Разросшаяся семья

Моравовы радовались, что семья Хесиных обогатилась родством с Кушенскими, а квартира из коммунальной превратилась в почти семейную. Когда у Милки с Моисеем не было концертов, молодежь вечером музицировала – в комнату Маруси набивалось человек по двенадцать. На эти посиделки иногда заглядывали даже сестры Гнесины. Шурка время от времени приходила с Арамом Хачатуряном. Тот был еще совсем молод – на два года моложе Кати, – он еще был лишь талантливым студентом Гнесинки, берущим классы фортепьяно, виолончели и композиции одновременно. Арам и Шурка боготворили Рахманинова, с упоением играли Равеля, рассуждая о странной, завораживающей гармонии, его, казалось бы, лишенных мелодичности «Зеркала». Рассуждали они и о джазе, которому Хачатурян предрекал великое будущее. Импровизировали в четыре руки на рояле, а Моисей, как мог, пытался украшать их импровизации басовыми нотами своего контрабаса. «Видишь, Милуша, как хорошо, что контрабас я все же оркестре не оставляю», – любил повторять он.

Каждый приход Хачатуряна превращался в праздник. Милка непременно пекла пирог с капустой, который она научилась под руководством Дарьи Соломоновны делать мастерски. Милка была беременна, но с удовольствием возилась у плиты, несмотря на сетования Моисея:

– Милуша, ну что ты все время возишься у плиты? Зачем такой большой пирог, тебе вредно уставать. Лучше напеки побольше маленьких пирожков!

Никто не задумывался над сибаритством Моисея, который тарелки за собой ни разу не вымыл. Никто не углублялся в размышления о смещении кровей. Никто уже не пенял Кате, что та бросила институт, ведь она так счастлива со Слоником. Когда не было гостей, семья все равно собиралась за вечерний стол вместе. Разговоры велись все больше о литературе. Катя выше всех почитала Тургенева, Маруся приносила книги современных авторов: Алексея Толстого, Горького. Роман «Мать» по очереди прочли все, но сошлись на том, что ранние рассказы, особенно «Старуха Изергиль», несравненно сильнее. Милка заявляла, что ей понравилась «Как закалялась сталь» – надо непременно спросить в письме Костю, похожа ли жизнь шахтеров на то, что описано в книге.

Но книги откладывались в сторону, как только появлялись Шурка и Хачатурян. Играли все подряд – джазовые импровизации, куски симфонических партитур, благо инструментов в семье было много. Если бы только не Трищенко, который отравлял все удовольствие!

Трищенко всегда с трудом терпел Марусиных учеников по вечерам. Бранился он и по поводу Милкиной виолончели, и контрабаса Моисея, хотя те репетировали по утрам, когда Трищенко проводил время в своей конторе. Но мода на концерты, которые эта семейка взяла за правило устраивать теперь по вечерам, переходила все границы. Едва раздавались в прихожей три звонка, Трищенко бросал свой обед с неизменной рюмкой водки и выскакивал в коридор в майке и подтяжках, двумя дугами обрамлявшими его внушительный живот. «Опять хулиганить явились?» – такими словами встречал он Шурку с Хачатуряном. «Мы не надолго, немножко посидим, мы тихо...» – отвечала ему волоокая Шурка, таща Хачатуряна за руку в комнату Маруси.

– Знаю я ваше «тихо», – вслед захлопнувшейся за ними дверью кричал Трищенко. – Не дают трудовому человеку отдохнуть после работы. Ну и что же, что нет одиннадцати! Имею право требовать покоя! Домоуправа завтра приведу. Ей-богу, приведу! Притон устроили из квартиры. Хоть бы приличную музыку играли, нет, только по клавишам барабанят.

Пару раз Трищенко приводил-таки в квартиру участкового, но того быстро поставила на место Маруся. Отчаявшийся Трищенко приноровился брать огромный жестяной таз и ходить с

ним по коридору, колотя в него палкой. Сестрам было стыдно перед Хачатуряном, а тот только смеялся, не сводя глаз с Шурки и повторяя, что бывают соседи и хуже.

Квартиру наполняли аккорды фортепиано, синкопированные звуки контрабаса. Дарья Соломоновна, которой Слоник раз и навсегда запретил вмешиваться, лишь прикрывала голову подушкой у себя в комнате, пытаясь читать... А по коридору, стуча палкой в таз, все ходил Трищенко в майке, подтяжках, с красной лоснящейся лысиной и громко выкрикивал:

– Понаехали тут... Что за семейка! Пока были одни Хесины, еще куда ни шло. Хоть и евреи, а приличные люди. А эти? Нищета, ничего за душой, а сборища – каждую ночь! И армяшку этого приваживают! Ничего, найду я на вас управу, какая стала нехорошая квартира!

Но молодежь продолжала веселиться. Это было ее время. Так было каждый вечер, пока в квартире не появилась Лялечка, дочь Милки и Моисея, а значит, и всей семьи. Первый ребенок нового поколения. Никто не забывал, конечно, что у Татьяны, старшей сестры Кушенских, есть Тамарка. Но это было где-то далеко, за пределами зеркального вестибюля, да и Тамарка стала незаметно взрослой. А Лялечка – это дитя их новой жизни. С ее рождением музыкальные безумства прекратились в нехорошей квартире сами собой.

...Роды у Милки были трудные, она лежала в родильном доме Грауэрмана с общим заражением крови. Чуть ли не ежедневно ей делали переливания крови, через две недели, когда родильная горячка стала стихать и Милка сделалась транспортабельной, ее с дочерью перевели в Первую Градскую за Калужской площадью: воспаление перекинулось на суставы таза. Антибиотиков еще не было, шел двадцать шестой год.

Милка вернулась на Большой Ржевский, когда Ляльке было уже почти два месяца. Теперь она передвигалась при помощи костылей, но врачи говорили, что со временем ноги и таз могут и разработаться, главное, не перетруждаться, не носить тяжести. Моисей возвращался домой, теперь уже неся вместо контрабаса сумки с продуктами. Коляску с Лялькой спускала в лифте вниз Дуня, когда-то жившая у теток Оголиных в прислугах. Она вручала Милке костыли, и та отправлялась гулять с ребенком на Собачью площадку, что отделяла Малую Молчановку от Большой.

Пожалуй, тут и проявился истинный Милкин характер. Легкость нрава, казавшаяся легкомысленностью, обернулась стоицизмом. Болезнь не убавила в ней ни грана жизнелюбия, не сузила ее мир. Точнее, сузила, конечно, но Милка находила его по-прежнему прекрасным. Она суетилась на кухне, умело управляясь с костылями, переваливаясь тазом, шустро ковыляла в ванную стирать Лялькины пеленки. Когда Лялька начала ходить, она и Моисей, державший на руках дочь, выходили по воскресеньям на улицу Воровского, поджидали у Гнесинского института автобус, чтобы проехать одну остановку до Красной Пресни, затем пересаживались на троллейбус «Б» и ехали гулять в Нескучный сад.

Милка сидела на скамье, Моисей бегал по дорожкам с Лялькой на плечах, и они были счастливы. Они, да и остальная разросшаяся семья не размышляли над испытаниями, выпавшим им волей судьбы и страны, коловшим их мир на «до» и «после». Это «после» затем снова раскалывалось, и не раз, осколки множились в отражениях зеркал вестибюля, убежавших в прошлое, а жизнь, настоящая и особенно будущая, виделась прекрасной бесконечностью.

Катя помогала сестре чем могла: стирала, таскала на плиту ведра воды, кипятила постиранное. Милка сопротивлялась, отнимала у Катюши высохшее белье и часами, стоя у гладильной доски, гладила простыни, полотенца, скатерки, сорочки Соломона, Катины блузки чугуном утюгом, наполненным угольками, разогревала утюг на конфорке, когда угольки остывали. Через полтора года уже сама Катя родила дочку. Снова трудные роды, но все обошлось, и Катя радостно включилась в прежний ритм жизни, ни на что не жалуясь. Изредка они с Милкой вспоминали, что и их собственная мать, Катенька-старшая, умерла вскоре после родов, но не стоит думать, что это особая участь женской части семьи Кушенских. Надо радоваться жизни,

их квартире, наполнившейся новыми жизнями, новым запахами – детскими, постирочными, кухонными, новыми звуками детского плача.

Жизнь семьи выплеснулась в общий коридор: Ляльке было уже два, она бегала, топоча крепкими ножками, по коридору, лезла на руки ко всем, цепляла женщин за юбки, путалась под ногами Дуни. С годами советской власти Дуня, вывезенная Костей в Москву вместе с сестрами, все больше обретала собственный голос, все больше проявлялся ее скверный нрав. С одинаковым упоением она набрасывалась на Трищенко, когда тот обижал ее семью, крича, что выцарапает ему глаза, огреет его шипящим утюгом, и злобно перемывала на кухне с его женой и Дарьей Соломоновны кости Милке и Кате, которые ее, Дуню, совсем заездили. Она носила тазы с кипятком в ванную с криком «Расступись!», а Милка или Катя выскакивали в коридор в страхе, что Лялька может ошпариться, на что Дуня отвечала бранью:

– В доме женщин полно, за ребенком присмотреть некому. Все барынями себя считают.

На это Катя, ничего не отвечая, тут же начинала собираться и отправлялась гулять с коляской, прихватывая на прогулку и Ляльку, чтобы Милка немножко отдохнула.

В коляске лежала Наташа, маленькое сокровище. Над Наталочкой, как с первого дня стал звать дочь Соломон, тряслись не только родители, но и все Хесины, не исключая и Дарью Соломоновну. Скоро из «Наталочки» девочка превратилась просто в «Алочку», а затем семья и вовсе забыла ее истинное имя, и «Алочка» стала Алкой. Соломон придавал особое значение тому, что Алочкин день рождения ровно на неделю позже дня рождения Катюши: у матери седьмого декабря, у дочери – четырнадцатого. Говорил, что первую годовщину дочери непременно будет справлять вместе с Катенькиной и соберет на этот главный праздник 1928 года всех родных – и Хесиных, и Костю с Мусей, а может, и Таня с Чурбаковым приедут... Лишь Олю звать в гости никому не приходило в голову: она совсем отдалилась, с головой ушла в работу, в загадочный расклад своего семейного пасьянса.

Маруся, единственная незамужняя из сестер, пару раз в году ездила в Тамбов навещать Олю, по возвращении рассказывала, что Ермолин с каждым годом все больше проигрывается, пьет, становится нехорош, а Оля и Владимир Иванович все более сближаются. Все трое ненавидят советскую власть, у них странные друзья, по вечерам обсуждают Троцкого, Бухарина, противоречивые, по их мнению, процессы в партии.

– Ничего в этом не понимают, но постоянно говорят, – досадовала Маруся. – Ругают индустриализацию, винят Сталина за колхозы. Как они могут об этом судить? Жизнь-то становится лучше. Не исключая, что некоторые крестьяне не хотят в колхозы, но как можно из этого делать антисоветские выводы?

– В колхозы не идут только кулаки, которые разбогатели при помощи батрацкого труда. А в колхозах труд делится поровну, – утверждал Моисей.

– Я допускаю, да, что это, возможно, более справедливо и эффективно. Но, главное, мы же ничего в этом не понимаем, – продолжала досадовать Маруся. – Но мы и суждений не высказываем! А Оля и Владимир Иванович заряжены нигилизмом, это просто неприятно!

Нехорошие квартиры

Соломон пришел с работы – он работал старшим инженером по обработке и монтажу пленки на киностудии «Мосфильм» – в крайней озабоченности и, лишь поцеловав Катюшу и Алочку, прошел в комнату к Марусе. Несмотря на Марусино сдержанное отношение к семейству Хесиных, в серьезных вопросах Соломон считался лишь с ней. Даже в большей степени, чем с собственной семьей.

– Костю арестовали. В чем дело, Муся толком по телефону объяснить не смогла. Но это и в газете написано... На рудниках и шахтах вредительство, идут аресты инженеров и руководящих работников отрасли. Муся плачет, Костя, конечно тут ни при чем, это ошибка, несо-

мненно... Он же работает на химзаводе, к рудникам отношения не имеет. Муся обивает пороги городского и областного НКВД.

– Наш Костя в тюрьме?

– Да... Маруся, как об этом сказать Кате?

– Нам надо что-то делать, – убеждала сестер Катя. – Слоник, надо написать письмо. Чтобы отсюда, из Москвы, дали правильную установку. Может, написать Орджоникидзе? Костя же с ним хорошо знаком... Милка, ты как думаешь?

– Никаких писем, – отрезал Соломон. – Сталину не дойдет. Писать другим бессмысленно, да и опасно.

– Почему опасно? Орджоникидзе, судя по рассказам Кости, порядочный человек.

– Катя, но мы же не знаем, а вдруг Орджоникидзе завтра сам проштрафится и наше письмо пойдет Косте во вред? – возражала Милка.

– Никому ничего не надо писать, – поддержала Маруся Соломона. – А вот съездить к Мусе, понять, в чем дело, это совсем другой коленкор.

– Ох, Маруся, – тут же меняла свою точку зрения Катя. – Не хочу, чтобы ты ехала в Донбасс. Одна, путь не близкий... А вдруг там и тебе находиться небезопасно? С кондачка такие вопросы не решают.

Сестры долго судили, рядили, похоже, Маруся и сама не так уж рвалась на баррикады, да и учеников бросить было нельзя. Приближался Новый год, сестры склонялись, что если Марусе и ехать в Горловку, то лучше к весне... Но к весне Костю, слава богу, выпустили. Следствие против него прекратили за полным отсутствием вины, даже «тонкой», о чем с напором рассказывала Муся. Что такое «тонкая» вина, сестры так и не поняли, да мало кто вообще это понимал: какое-то новое юридическое изобретение руководителя Верховного суда Вышинского, как путано объяснял сестрам Моисей.

Каким образом Косте удалось выпутаться из ситуации, вошедшей в историю как «шахтинское дело», сестрам понять было не дано. Вернувшись наконец в Москву, брат рассказывал, что в тюрьме его били, не давали спать, кормили селедкой, а потом не давали воды...

– Если бы не Муся, я бы пропал, – повторял он, утирая слезы. – Только она меня спасла. Куда только ни ходила, какие только пороги ни обивала. Какой это был ужас...

– Муся, как тебе это удалось? – такие вопросы могли задавать, конечно, только Катя с Милкой.

– Нашла людей, которые захотели помочь, – скупно отвечала Муся.

– Справедливых, которые разобрались во всем?

– Можно и так сказать... – перед глазами у Муси вставали картины тех страшных четырех месяцев: она сует в ресторане деньги энкаведешнику, стучит кулаком по столу в каком-то высоком кабинете... Один из двух следователей, мучивших Костю, пьет в ее доме чай, глядя на крутобедрую, со свежим перманентом Мусю, надевшую для гостя тонкие фильдеперсовые чулки и небрежно закидывающую ногу на ногу.

– Вот я и говорю, – размышляла Милка, – значит, все-таки сумели разобраться. Ведь в Донбассе вредительство выявляли, правильно? А какой же Костя вредитель? Но разобрались же!

По углам сквера у начала бульвара, охраняя памятник Гоголю, сидели львы с умильными, вовсе не хищными, мордами. Катя с пятилетней Лялькой и трехлетней Алочкой больше всего любила гулять по Гоголевскому бульвару. Они выходили из дома, проходили Собачью площадку, пересекали улицу у ресторана «Прага»... Катя неизменно напоминала девочкам, что обе они появились на свет в роддоме Грауэрмана напротив... Выходили к скверу и шли по бульвару в сторону Пречистенских ворот, теперь Кропоткинской площади, непременно посмотреть на храм Христа Спасителя.

Сестры считали, что приобщать девочек к искусству, литературе, музыке, истории никогда не рано; пусть не все запомнится и будет понятно, главное – с рождения научить их чувствовать красоту и отличать истинные ценности.

– Ляля, Алочка, – говорила Катя малышам, – семья, любовь к близким – самое главное в жизни. Любите нашу семью. Вы думаете, это только ваши папы и мамы, тетя Маруся, бабушка Дарья Соломоновна?

– Еще дедушка и тетя Рива! – кричала Алка.

– Правильно, а еще кто?

– Дядя Костя с тетей Мусей. А еще тетя Таня из Кирсанова!

– Правильно, Лялечка, только не тетя Таня, а Татьяна Степановна.

– А почему «тетя Муся» и «дядя Костя» можно, а «тетя Таня» нельзя?

– Лялечка, не перебивай. Лучше подумай, что у твоих бабушек и дедушек были свои папы и мамы. У нас с Милой и Марусей были тетушки, их звали Елизавета Павловна, Дарья Павловна и Мария Павловна. Жили они в имении под Тамбовом, и происходили из старинного дворянского рода. У них тоже были свои папы и мамы.

– У них были тоже тети и дяди?

– У них был дядя, его звали Василий Оголин. Давно, больше ста лет назад, на Россию напали французы. Ими командовал император Наполеон. А русскими войсками командовал маршал Кутузов. Тот собрал в свое войско лучших офицеров России и оборонял Москву от французов. Василий Оголин служил у него гренатером.

– Гренатером?

– Да. Он воевал на лошади, у него была сабля, большая шапка, и он был очень храбрым. Русская армия долго сражалась с войсками Наполеона и победила их. Французов, которые почти сожгли Москву, погнали далеко-далеко, через всю Европу, чтобы они больше никогда не думали нападать на Россию.

– Французы плохие?

– Они были плохие, когда решили пойти войной на нас, но это было очень давно.

– Они исправились с тех пор?

– Они поняли, что война – это горе, лучше жить в мире. Так вот, после того, как русская армия разбила Наполеона, русский царь велел построить этот храм.

– Царь – это как Ленин тогда?

– Ляля, не болтай глупости. Посмотрите, девочки, лучше на храм. Такую красоту соорудили именно в память о победе в той войне. В память о русских героях. Вон там, под куполом – это называется фронтон – написаны слова. Это имена самых храбрых офицеров и генералов, которые воевали с Наполеоном. Когда вы научитесь читать, вы прочтете, что там есть и имя Василия Оголина, вашего прадедушки.

– Прадедушки?

– Алочка, Василий Оголин приходился дядей Степану Ефимовичу, моему и Милкиному папе. Значит, Степан Ефимович был ваш дедушка, а Василий Оголин – прадедушка. Вы это запомните, и когда будете гулять, вы сможете всегда прочесть это имя на фронтоне храма и будете гордиться своим прадедушкой. Будете гордиться, что его имя видит вся Москва, вся Россия, потому что он защищал Москву от врагов. Защищал наши семьи.

Девочкам не довелось самим прочесть имя прадеда на фронтоне храма Христа Спасителя. В декабре того же, тридцать первого года, как раз накануне дня рождения Алочки-Наташки, по решению власти храм взорвали. Кануло в лету имя Василия Оголина.

– Почему надо было уничтожить именно этот храм? – горевали Катя с Милкой. – Понятно, что власть борется с религией, просвещает народ. Но столько церквей стоит по всей Москве. Службы в них, конечно нет, но они же такие красивые... А уничтожить самую красивую из них, зачем?

– Как главный символ религии, так я думаю, – вздыхала Маруся. – Страшно жаль, конечно. Говорят, на этом месте будут строить какой-то огромный Дворец Советов, символ новой власти.

Катя и Милка шли на кухню, возиться у плиты. Марусе давно пора бы выйти замуж, а у нее в голове одна музыка и работа. И Шурке Стариковой нельзя так увлекаться только карьерой. Да, она невероятно талантлива, выступает с сольными концертами, зарабатывает известность, влюбляется постоянно, но ей нужна семья. Важнее семьи же нет ничего! Сейчас она страшно влюблена в безумно талантливого поэта. Надо, чтобы Маруся убедила Шурку привести его в гости на Ржевский. Говорят, он обещает стать знаменитостью! Взглянуть бы хоть одним глазом...

Тем временем Костя с Мусей получили взамен двух комнат на Покровке отдельную квартиру в районе Таганки. Это было признание Костиного вклада в развитие химической промышленности, его незаменимости, считали сестры, и радовались за него. Костя так и не изжил в себе влюбчивости, от чего Муся страдала, нередко бросаясь на мужа со всем своим хохляцким напором, но с годами привыкла, махнула рукой на сердечные драмы собственного мужа, повторяя сестрам, что никуда муж от нее, Муси, не денется. Если что, она сумеет за себя постоять. Милка с Катей не могли представить, в чем именно состояли Костины драмы, ведь сердцу не прикажешь! Они лишь жалели брата и сочувствовали Мусе. Соломон и Моисей над Костей подсмеивались, одна Маруся серьезно беспокоилась за психику брата. Костя, и так крайне чувствительный, после месяцев, проведенных в тюрьме, превратился в оголенный нерв, сбивчиво сетуя и на свою работу, и на семью, и на Мусину бездетность. Время от времени рассказывал – опять-таки Марусе – о своей очередной любви, связать жизнь с которой ему не суждено – по самым разным, всегда одинаково безысходным причинам. Он лелеял мысль о том, как покончит с собой, таскал с работы смертельные химические составы, пряча их в квартире сестер. Убираясь, сестры натывались на бутылочки с ядами, выбрасывали их, устраивали Косте скандалы, зывали к его разуму... Потом успокаивались: что можно сделать с Костиными настроениями?

Шурка не успела привести гения-поэта познакомиться с Кушенскими. Гений бросил ее, и Шурка прибежала к Марусе в рыданиях. Горе ее было так безутешно, что Маруся не могла отпустить ее домой. Она отпоила Шурку чаем, уложила спать в своей комнате на диване, сама устроившись на полу. Утром, когда ей надо было уходить в Гнесинку, Шурка спала, разметав копну волос по подушке, без всхлипов и стонов. Ее лицо выглядело просветлевшим, и Маруся, решив, что теперь главное – дать Шурке хорошенько выспаться, – отправилась на работу. Шурка встала поздно, долго завтракала с Катей и Милкой, играла с девочками, затем отправилась к себе домой... На следующее утро Марусю разбудил звонок Шуркиной соседки: беда, Шурка отравилась! Выпила уксусной эссенции, стоявшей на полке у Дарьи Соломоновны.

У Шурки были сожжены гортань и пищевод, она корчилась в муках, проклиная себя и умоляя ее спасти. Сиплым шепотом и жестами объясняла Марусе, прибежавшей к ней в больницу, что после ухода той на работу она искала по всей квартире Кушенских какой-нибудь яд, из припрятанных Костей. Не найдя, схватила бутылку уксуса на кухне и, убежав к себе домой, выпила. Промучившись еще два дня, Шурка умерла.

– Что за люди, – повторял Трищенко, выходя вечером на кухню. – Что за люди, какого рожна им надо? Не работают, а государство деньги им платит неизвестно за что. За то, что они на балалайках бренчат. Так нет, все им не по душе. Уксусом травятся! Нехорошая квартира...

Лялька и Алочка пошли в школу. Лялька была жизнерадостной, не избалованной и не подверженной капризам упитанной девочкой с прямой стрижкой и неизменно ясным, приветливым взглядом. Алочка – маленькая, хрупкая, темноволосая и черноглазая, постоянно капризничала, плохо ела и была естественной мишенью для издевок мальчишек в классе, за которыми стояло желание привлечь к себе внимание самой красивой девочки класса. Их люби-

мой забавой было подстеречь Наташу Хесину после школы, взять ее «в плен», сложив каре из переплетенных лыжных палок, и в нем вести Наташку до дома. Это было очень унижительно, Алочка страдала.

Темно-серый четырехэтажный особняк дореволюционной постройки, стоявший наискосок от дома восемь на другой стороне Большого Ржевского переулка, называли «маршальским домом». Из маршалов там, пожалуй, никто и не жил, но жили другие, известные военачальники: командармы первого ранга Якир и Уборевич, армейский комиссар первого ранга, начальник политуправления РККА Гамарник, командующий Московским военным округом генерал Шиловский. Именно из этого дома в конце тридцать пятого начали исчезать люди. Как правило, по ночам. Шум подъезжавших к «военному дому» черных машин, блики фар, звук захлопнувшегося за людьми с околышами подъезда, еще какие-то страшные шорохи... Возможно, лишь кажущиеся крики и рыдания, доносившиеся на шестой этаж противоположной стороны улицы, и вновь рокот мотора, раскалывавшего ночную темень, будили обитателей «нехорошей квартиры». При свете дня Катя, Маруся и Милка избегали обсуждать ночные звуки.

Девочки, Лялька и Алочка, обожали спать вместе, а Соломон, баловавший Алочку сверх всякой меры, то и дело уступал им полуторную кровать, устроившись сам вместе с Катюшей на раскладном сером диване.

В середине тридцать шестого года начались ночные визиты и в дом на Ржевском. Лежа ночью без сна в постели, Лялька и Алочка обнимали друг друга и шептались, чтобы не разбудить родителей: «Слышишь, Алка, лифт опять поднимается. Второй этаж, третий... Только бы не к нам... Четвертый....»

– Лифт захлопнулся, слышала? Кажется, звонят. Точно четвертый...

– Нет, пятый. Но все равно не к нам....

– А вдруг они потом к нам?

– Не придут. Они только в одну квартиру в ночь приходят.

– А вдруг придут?

– Слышишь, дверь опять хлопнула, лифт вниз поехал. Уже сегодня не придут, спи, давай.

Наутро ночные страхи отступали, начинался новый день, Катя приносила из кухни манную кашу – единственное, что могла есть Алка по утрам, и то давась и капризничая. Милка делала девочкам бутерброды в школу, Катя заплетала дочери косу, вкалывала Ляльке в волосы белый бант, помогала девочкам натянуть на плечи ранцы и провожала до двери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.